

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.С. ЖУКОВСЬКОГО
«ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС

*Вища атестаційна комісія України
визнала журнал “Гуманітарний часопис”
фаховим виданням з філософських наук
(Постанова Президії ВАК України
від 8.06.2005 № 2-05/5)*

1'2007

Гуманітарний часопис – збірник наукових праць.

Засновник – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Вид видання за цільовим призначенням – наукове.

Виходить чотири рази на рік.

Заснований в січні 2004 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ №8338 від 22.01.2004 р.

Редакційна колегія:

Голова редакційної колегії – **Кривцов В.С.**, доктор технічних наук, професор, ректор Національного аерокосмічного університету.

Головний редактор – **Копилов В.О.**, кандидат філософських наук, професор ХАІ, завідуючий кафедрою політології та історії, декан гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету.

Заступник головного редактора – **Проценко О.П.**, доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного аерокосмічного університету.

Байрачний К.О., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного аерокосмічного університету.

Будко В.В., доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедрою філософії Харківської академії міського господарства.

Гайдачук О.В., доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного аерокосмічного університету.

Карпов Я.С., доктор технічних наук, професор, перший проректор Національного аерокосмічного університету.

Корабльова Н.С., доктор філософських наук, професор кафедри теоретичної та практичної філософії Харківського національного університету.

Кочарян О.С., доктор психологічних наук, професор, завідуючий кафедрою психології Національного аерокосмічного університету.

Неймер Ю.Л., доктор філософських наук, професор (Філадельфія, США).

Садіков Г.М., доктор біологічних наук, професор кафедри психології Національного аерокосмічного університету.

Стародубцева Л.В., доктор філософських наук, професор кафедри культурології Харківської державної академії культури.

Степаненко І.В., доктор філософських наук, професор кафедри філософії Харківського національного педагогічного університету.

Степінко М.Т., доктор філософських наук, професор Національного інституту стратегічних досліджень.

Рекомендовано до видання Вченою радою Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (Протокол № 7, від 18.04.2007).

ББК 87.3 ISBN 966662-102-9

Ф 48

Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. 2007. – №1 – 126 с.

Гуманітарний часопис містить наукові праці, які відображають широке коло філософських проблем історії та сучасності у галузі гносеології та феноменології, соціальної філософії, антропології та філософії культури.

Видання розраховане на наукових співробітників, викладачів філософії та інших гуманітарних дисциплін і всіх, хто цікавиться філософською проблематикою.

© Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2007

ЗМІСТ

<i>Проценко О. П.</i> ЭТИКЕТНАЯ ИМПЕРАТИВНОСТЬ В КОНСТРУКТАХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ	5
<i>Поліщук О. П.</i> ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ В КЛАСИЧНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ	18
<i>Сабадаш Ю. С</i> ГУМАНІЗМ ТА АНТИГУМАНІЗМ В ІТАЛІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ	25
<i>Онiценко О. І.</i> СТЕФАН ЦВЕЙГ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ	33
<i>Копилов В. О.</i> КОГНІТИВНІ МЕТАМОРФОЗИ ВЛАДИ	43
<i>Проценко А. Ф.</i> ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ОСНОВА И НОРМАТИВНО- ЦЕННОСТНАЯ ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ	55
<i>Раздіна О. В.</i> ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН	63
<i>Сапенко Р.</i> СУЧАСНІ ВИМІРИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ПРЕСИНГ АМЕРИКАНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЖИТТЯ	72
<i>Руденко С. О.</i> СПЕЦИФІКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ	81
<i>Кривда Н. Ю</i> КУЛЬТУРНИЙ ПОЛЦЕНТРИЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ.....	88
<i>Калиновський Ю. Ю.</i> ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ПІДГРУНТЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ.....	94

Петрук В. Н.

**ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПУТИ
ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА.....101**

Стричинець О. В.

КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ.....106

Кислюк К. В.

**УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОСОФІЯ В ДІАСПОРІ: ШЛЯХИ
ПОСТУПУ.....118**

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ.....125

УДК 130.2

Проценко О. П.

ЭТИКЕТНАЯ ИМПЕРАТИВНОСТЬ В КОНСТРУКТАХ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

У статті проаналізовано роль кожного денних характеристик. Показано роль етикету в їхній структурі.

Ключові слова: мораль, традиційний етикет, буденне життя.

This article deals with every-day characteristics. It shows the place of etiquette in their constructor.

Key words: moral, traditional etiquette, every-day life.

В условиях, которое диктует современное информационное общество, утверждая приоритет коммуникативности, потребления, коллективной ответственности перед глобальными процессами планетарного масштаба, актуальность философской рефлексии феномена повседневности значительно возрастает. Исследование такой сферы социальной реальности, как повседневность, имеет давнюю традицию, поскольку максимально приближена к практическим задачам жизнедеятельности людей, их культуротворчеству.

Повседневность всегда, а в настоящее время в особенности организует, упорядочивает социальную деятельность людей, способствует созданию комфорта в предметно-вещном окружении, активно влияет на процесс самоидентификации личности.

В отечественной философской литературе за последние десять лет наметился интерес к анализу феномена повседневности, реализовавшейся в ряде трудов, где авторы в качестве самостоятельных выделяют ряд теоретических проблем. В работах И. В. Карпенко уделяется внимание философской рецепции повседневности в пространстве культуры, Я. Н. Кунденко анализирует повседневность со стороны ее утилитарно-прагматического назначения, Л. В. Васильева рассматривает влияние рекламы на качественные характеристики повседневности, а М. Щербина – мифологизацию повседневного бытования людей.

В данной статье речь пойдет об этикетной нормативности и ее влиянии на конструирование интересубъективного уровня повседневности в ее исторически сложившихся вербальных и невербальных видах коммуникации (речевой этикет, застольный этикет, обмен дарами и благодеяниями).

Повседневностью обозначается едва уловимый спектр бытийствования человека, когда ряд его жизненных проявлений приобретает устойчивость, постоянство, привычность, обязательность, независимость. Повседневность есть некое пространственно-временное поле, которое человек образует и которым впоследствии живет. Как «определенная сфера и способ жизни» (Б. Вандельфелс) повседневность включает в себя структурирование предметно-вещной среды, установление отношений, связей, контактов, бдит традиции, устои, создает модули поступков и действий. Ею приносится в жизнь отдельного человека смысл, назначение,

протяженность. Без ощущения темпоральной и событийной непрерывности наступает состояние потерянности, безысходности, что снижает или устраняет практическое и творческое самовыражение человека. По мнению М. Хайдеггера, «человек всегда остается в обыкновенном и легкодоступном». Остается и тогда, «когда речь идет о первоначальном и конечном», и тогда, «когда собирается расширить, изменить и вновь освоить и закрепить сферу обнаружения сущего в самых различных областях своей деятельности и своих возможностей». При этом он руководствуется «указаниями, которые определяются кругом повседневных намерений и потребностей» [11, с. 22]. Экзистенциальные процессы, рождающиеся у человека под влиянием повседневного, складываются не сами по себе и не только в связи с усилиями, происходящими от самого человека, но и под воздействием устоявшихся в обществе факторов, сложившихся условий.

Повседневное противостоит неповседневному как эксклюзивному, в котором утрачивается однозначность, полезность, последовательность. Особое место в прорыве из повседневного занимает праздник. Праздник в отличие от будней возвышается над повседневностью благодаря особому конструированию и декорированию социальных действий. В празднике происходит и снятие запретов на целый ряд поступков и действий. Вольность как разновидность социальной свободы снимает официальный и серьезный тон, устраняет односторонность и догматизм каждодневности. Характеризуя карнавал в широком смысле, И. М. Бахтин подчеркивал, что такой род праздника, как, впрочем, и другой, позволяет взглянуть на мир по-новому; без страха, без благоговения, абсолютно критически, но в то же время и без нигилизма.

Однако как только феномен праздника получает повтор, рефрен, он утрачивает и теряет свое назначение, уходя с авансцены жизнедеятельности совсем или становясь рядовым фрагментом повседневности.

Противостоит повседневному и экстремальность, которая выявляет и обособляет события вследствие их особой значимости, важности, судьбоносности. Не случайно, утверждая, что существование предшествует сущности, Ж. С. Сартр обращается к переживанию случая, который меняет весь строй жизни, с ее планами, программами, устойчивыми стереотипами во взглядах и поступках. Это болезнь, ожидание смертной казни, расставания с близкими. Такой прорыв постепенности связан с обнаружением собственно человеческого в привычном строе жизни, который нарушается, раскалывается на непредугаданное. Выбор, который сопутствует персональной бытийственности, есть та экстремальная ситуация, в которой заключена ее сущность.

Ситуация предпочтения, суженная до альтернативности, есть одновременно смысл и абсурд индивидуальной повседневности. Такая альтернативность придает существованию абсурдность и мешает повседневности с ее текучестью, устойчивостью, полезностью. Абсурдный человек, по словам А. Калио, отдает предпочтение своему мужеству и своей способности суждения. Первое учит его вести не подлежащую обжалованию жизнь, довольствоваться тем, что есть; вторая дает ему представление о его пределах.

В обществе потребление повседневность наполняется псевдособытиями. Это модели, конструкты кода. «Они, – по словам Ж. Бодрийяра, – завладевают нашим повседневным существованием» [2, с. 164]. Однако это не фальсификация и не искажение подлинного «содержания». Это неореальность, созданная современной жизнью как дополнение исконно существующей реальности, меняющейся повседневности.

Этикет пронизывает повседневность, организуя ее, структурируя, создавая композиционные формы. Наполняясь этикетным, повседневность обретает универсальность. В ней узнаваемы пути собственно человеческой активности. Она наполняется особыми поведенческими техниками, с помощью которых человек и человечество обретает основание для воспроизводства себя самого, сохранения и обеспечения дальнейшего существования. В этом своем назначении этикет, как установление вежливости и деликатности, выступает в роли «социальной косметики» (Л. Хеннев, Х. Филлипс). «Косметика» в виде учтивости и деликатности является цивилизованным способом социального взаимодействия; она предполагает некое беспокойство о создании внешних форм поведения, независимо от его мотивов. Этикет способствует созданию «поведенческих текстов» (Ю. Лотман), придающим всей деятельности человека наглядные фрагменты, смылосодержащие знаки, переходящие в «феерию кода» (Ж. Бодрийяр).

Этикет претворяет единичное, отдельное в сакрамент культуры поведения и той, что создалась временем, и той, которая наводит пути наперед, на перспективу. В повседневности приличия и пристойности, упорядоченность во всех своих модификациях.

Указывая «путь к языку», М. Хайдеггер утверждает, что «дар речи отличает человека, только и делает его человеком». Это отличительный признак его существа. «Человек не был бы человеком, если бы ему было отказано в том, чтобы говорить – непрерывно, всеохватно, обо всем в многообразии разновидностях...» [10, с. 259].

Вербальные или словесные способы в установлении контактов, обмене информацией, умении убеждать или декларировать в долгой историко-культурной традиции приобретали устойчивость и определенность. Культура речи или искусство хорошей речи свидетельствует о степени овладения языком, умении строить речь, пользуясь установленными правилами произношения, ударения, словоупотребления, способностью выбирать стилистически верный вариант организации слов. Культуру речи отличает также богатство лексического и интонационного строя. Культура речи проявляет себя в системе требований этикета. Понятие «речевой этикет» весьма объемно. Оно включает в себя и совокупность правил, регулирующих вербальное общение, и совокупность словесных форм учтивости, предназначенных для вполне конкретных и заранее оговоренных ситуаций, и стратегию поведения, сопровождаемого речью.

Речевой этикет является универсальным способом трансляции морально-ценного. Он способствует проявлению таких моральных качеств личности, как скромность, терпимость, уважение к чувству собственного достоинства личности, утверждает отношения, связанные с почтительностью, дружелюбием, реализует

принципы чести, достоинства и моральной справедливости.

Вербальное общение, регулируемое правилами этикет, должно быть свободно от волнений, гнева, лени, пристрастия и небрежности. Внимание к собеседнику и уважение к нему выступают нравственно-психологическим контекстом любых речей. Смущать внешнее спокойствие не должно ни злость, ни оскорбления, ни какое-либо порицание. Подчеркнутая вежливость в вербальном общении предполагает основные принципы формальной логики, такие, как отказ от софизма, некорректных аргументов, фактов, не соответствующих действительности, и прочее.

Для реализации любезности и деликатности лучше говорить не о себе и от себя, а от имени собеседника и о собеседниках. Смена оборотов речи кардинально меняет характер общения. В этом случае одна и та же информация может уязвлять и провоцировать защитную реакцию, а может привносить морально-психологический комфорт в общение в зависимости от того, как она подается.

Речевой этикет представляет собой особую стратегию поведения, способ действия или такт: уметь слушать собеседника, хранить молчание, уходить от ответа или вопроса, выбирать тему разговора в зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей собеседника. Особое значение в стратегии поведения, обусловленного речевым этикетом, приобретает подбор слов и интонаций, их сопровождающих. Тон, в котором ведется беседа, выражается или изъясняется воля, бывают порой важнее, чем содержание фраз. Случается, что устойчивый словесный оборот, взятый без интонационной окраски, не несет эмоциональной нагрузки, а в звуковом оформлении может иметь как учтиво-вежливую, так и оскорбительно-насмешливую направленность.

Речевой этикет органично включается в логосферу культуры. Он сам по себе есть относительно самостоятельная речемыслительная область культуры, воплощая в себе единство мысли (идеи, замысла, принципа) и устойчивой речевой формулы. Это единство слова и мысли определяет не только характер общения между людьми, но и определяет их зависимость друг от друга. Так, рассуждая о высшем морально-физическом благе, И. Кант обосновывает «благополучие, которое как будто лучше всего согласуется с гуманностью», как «хороший обед в хорошем (и если возможно, разнообразном) обществе». Здесь правила этикета вплетены в процедуру застолья и обеспечивают удовольствие и удовлетворение от такого рода общения. И. Кант определяет и основные принципы речевого этикета во время застолья, среди которых следующие: тему для беседы следует избирать такую, которая интересует всех и каждого, побуждает к разговору; нельзя допускать убийственной тишины; без надобности лучше не менять предмет разговора и переходить к другой теме желательно тогда, когда исчерпает себя предыдущая; «нельзя позволять, чтобы в обществе возникли и разгорелись споры»; если же все-таки споров не избежать, то нужно каждому участнику спора стараться по возможности сдерживать свои аффекты, «чтобы всегда проглядывалось взаимное уважение и благоговение». По мнению И. Канта, эти на первый взгляд малозначимые законы утонченного человека не только содействуют общительности, но и, содействуют добродетели, олицетворяя ее [3, с. 529–530].

Словесные формулы этикетного характера заключают в себе значительную степень условности, а в некоторых случаях полностью исключают буквальное их понимание. Это касается риторических вопросов о здоровье, делах, в отдельных случаях приглашения разделить трапезу и прочее. Устойчивые словесные выражения имплицитно содержат в себе призыв к взаимности, единству действий: обменяться приветствиями или прощаниями, ответить на обращенный вопрос, поинтересоваться мнением собеседника, испросить разрешение и прочее. Вербальное общение, регулируемое правилами этикета, включает в себя не только акты «говорения», но и «неговорения», когда того требует ситуация: держать паузу, хранить молчание, «уходить» от спора, не разглашать конфиденциальную информацию и многое другое. Речевой этикет «запрашивает» особым образом организованные нравственно-психологические стереотипы действий, где статус действий приобретают состояния, лишенные однозначной, визуально воспринимаемой активности: слушать, избегать, не проявлять, не перебивать, не превышать.

То, что позитивная нравственно-психологическая атмосфера в общении устанавливается благодаря вербальным средствам, известно еще с древности. В Ветхом завете приводятся заповеди, направленные на устранение враждебности и агрессивности в общении людей друг с другом. Они носят исключительный конкретно-рекомендательный характер: «Короткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость», «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю» [Пр., гл. 15, 16].

Нравственно-психологические ориентиры, обозначавшие себя в истории культуры, трансформировались в систему этикетных рекомендаций, которые предстают как общественные установления в организации повседневной практики: воздержаться от остроумия и насмешек, не повторять по несколько раз одно и то же одним и тем же людям, не занимать собеседника личными делами.

Особым образом организованная лингосфера способствует успешному решению социально значимых вопросов. Согласованность в области средств вербального общения и в прошлых веках, и в настоящее время указывали на «неуклюжести духа», проявляющиеся в речевом общении: отсутствие внимания, сосредоточенности, контроля за эмоциональным состоянием, которые ведут к оговоркам, забывчивости, путаницы в словах и выражениях. Нельзя, например, путать фамилии и забывать имена, говоря при этом «как бишь его», или «забыл как звать», или «дай бог памяти», – советует Честерфилд, – если память подвела, надо тактично выйти из ситуации. Речевой этикет в деловом общении ввел в практику делового общения Д. Карнеги, преломив изыскания прошлого к особенностям сегодняшних дней.

Речевой этикет являет собой феномен культурных форм повседневности. Благодаря соответствующим словесным выражениям межличностное общение и коллективные действия приобретают не только согласительный и организованный характер, но наполняются универсальными ритуализированными приемами, трансформирующими вежливость, учтивость, любезность и деликатность. Снимая конфликтную напряженность, предупреждая враждебность и агрессию, создавая атмосферу предупредительности и миролюбия, речевой этикет совершенствует

повседневное бытование.

Совокупность правил, регулирующих поведение людей во время приема пищи, в развитии общества были определены достаточно рано. В системе трудовой деятельности людей естественная потребность в утолении голода приобретает надынстинктивный характер. По тому, как изменилась процедурная сторона приема пищи, можно судить об этапах развития общества и состояний культуры.

Особое отношение к еде, обозначившее себя уже на ранних стадиях общественного развития, можно рассматривать как следствие коллективного труда и коллективного распределения его продуктов. Принцип первобытного коллективизма оказал влияние на возникновение обязательных поведенческих стереотипов и процедур по отношению к пище.

В реальной социальной практике первобытного общества требования к поведению в процессе приема пищи оборачивались системой жестких запретов, заклинаний, проклятий, магических действий. Так, в период дикости существовало представление, что с помощью магических действий над остатками пищи и предметами, бывшими при этом в употреблении, можно нанести человеку вред, пока существует связь между тем, что находится в его желудке, и тем, что осталось после еды. Опасаясь негативного влияния магических заклинаний, многие первобытные народы стали уничтожать все оставшееся после еды, устраняя, таким образом, источники загрязнения, инфекций и заболеваний. Суеверие оказало влияние не только на формирование санитарно-гигиенических правил. Оно повлекло за собой распространение гостеприимства и дружелюбия, доверия к тому, с кем принимаешь пищу, делишь трапезу. Это было связано с предубеждением, что совместное поедание одной и той же пищи исключает возможность распространения магических действий на всех сотрапезников. «В силу этого, – пишет Д. Фрезер, – связи, возникшие через совместное принятие пищи, окружаются в первобытном обществе ореолом святости. Принимая участие в совместной трапезе, двое людей на деле дают зарок доброго расположения друг к другу» [9, с. 196].

Складывающиеся нравственно-коммуникативные отношения доброжелательности, поделчивости и расположение людей друг к другу во время еды наглядно поддерживались этими принципами, авторитетом первых проявлений социальной субординации (вождь и рядовой соплеменник, старший и младший, мужчина и женщина), а также силой запретов, табу.

Действия, сопровождающие трапезу (с др.-гр. стол, кушанье), не сразу стали устойчивыми и обязательными. Многие из них наряду с чисто утилитарным постепенно приобретали ритуальный характер. При этом непосредственный процесс насыщения уступал значимости самого социального факта. Постепенно трапеза становится символом или знаменем события, знакомства, дружеской встречи или приятного времяпрепровождения.

С развитием материальной основы жизни общества важной стороной застолья становится та, которая выражается в предметно-вещном многообразии, а также в богатстве и разнообразии блюд, искусстве их приготовления. В связи с этим роскошь с изобилием, с одной стороны, и простота с умеренностью, с другой, предстают не

просто как степень насыщения, но и как форма, в которой находят себя образ жизни, манеры поведения, морально-психологические установки или, по словам Сенеки, «материя благодеяния». В отношении к еде мыслители усматривали мудрость жизни. «Званные обеды у тебя не должны быть роскошны и при этом скучны, – предостерегает Эпиктет, – веселы и просты, чтобы, с одной стороны, от угождения телу не страдала душа, а с другой – чтобы, потворствуя чувственным наслаждениям, не оставлять без внимания тело и тем, впоследствии не повредить ему» [13, с. 255].

В философских трудах не найти описаний отдельных деталей техники поведения, сопровождающего трапезу. Философы выделяют определенную тенденцию поведения, которая может конкретизироваться, не выходя за границы подобающего. Об этом свидетельствует, в частности, высказывание Сенеки: «Пусть вошедший в наш дом дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик, кто серебряной пользуется как глиняной» [7, с. 10].

Процедура трапезы претерпела значительное изменение в связи с появлением стола в изначальном его виде – доски, установленной на высокие козлы, что способствовало установлению новых движений и поз во время приема пищи. Вкушение за высоким столом стало отличительной особенностью поведения христиан в отличие от язычников. Высокий стол, используемый для приема пищи, оказал влияние на различие бытовой и поведенческой культуры европейских народов от большинства народов Азии, где принято во время еды сидеть на полу, а пищу класть на скатерть или переносной низенький столик.

Застолье как культурная форма общения нашла свою абстрактно-теоретическую интерпретацию в философии И. Канта. С одной стороны, И. Кант разрабатывает обобщенные формулы застолья как разновидности социального взаимодействия, с другой – дает некий прикладной концепт, выходящий на ряд конкретных рекомендаций. Соблюдение положений, предложенных мыслителем, и помогает воссоздать относительно самостоятельный и уникальный культурный феномен, именуемый застольем.

Механизмом, формирующим застолье, служит исторически определившиеся требования к внешней культуре поведения. Создание внешней формы поведения за столом есть некая игра по правилам, которые добровольно приняты участниками. Хозяин и гости в ответе за разыгрываемый спектакль, где следование этико-эстетической нормативности есть самоцель. Ратуя за достижение «морального блага», И. Кант утверждал, что «нигде чувственность и рассудок, соединенный в потреблении, не могут столь долго продолжаться и столь часто повторяться с удовольствием, как за хорошим столом в хорошем обществе» [3, с. 486].

Вкус, опирающийся на разум, – вот что обеспечивает «благородное застолье», которое с необходимостью включает в себя, по мнению И. Канта, «взаимное и общее удовольствие», обусловленное соблюдением неукоснительных принципов: «Каждое пиршество и без особой договоренности имеет некую святость и долг умолчания, умолчания, вкушение пищи за общим столом должно рассматриваться как формальность подобного договора взаимной безопасности», к столу должно быть

приглашено определенное количество участников («...оно должно быть не меньше число граций и не больше числа муз»)[3, с. 526].

Процедура застолья предполагает культуру умений и культуру воли. Первая обеспечивает инструментарий, техническую сторону застолья, выраженную в манерах, а вторая – гарантирует предпочтение добрых намерений в поступках и действиях над недобрыми. При этом значении манер поведения за столом настолько велико, что они зачастую способны определять характер морально-психологической атмосферы застолья и оказывать влияние на авторитет каждого из участников трапезы. «Человек, – писал Честерфилд, – может неуклюжестью своей вызвать к себе такое отвращение, что все достоинства его потом будут перед ними бессильны». Неуклюжий человек за столом «неминуемо обожжет себе рот, уронит и разобьет либо блюдо, либо чашку», «то он держит нож, вилку и ложку совсем не так, как все остальные, то вдруг начинает есть с ножа и кажется, что вот-вот порежет себе язык и губы». «Хорошие же манеры располагают людей в твою пользу, привлекают их к тебе и вселяют в них желание полюбить тебя» [12, с. 13].

Важное место в процедуре застолья отведено размещению и рассаживанию его участников. Высокий обеденный стол и стулья с жесткими спинками сдерживают активность сотрапезников, придавая статичность и усеченность их движениям, сужая круг непосредственных контактов. Современный интерьер столовых, гостиных и мест, отведенных для застолья, включает в себя разнообразную конфигурацию мебели, предназначенной для трапезы: столы высокие и низкие, стационарные и передвижные, а к ним не только стулья, но и кресла, банкетки, пуфы. Такой интерьер призван создать между людьми отношения, заданные предметами: тепла или отчуждения, близости или дистанции. Человек здесь обязательно находится в некотором отношении друга или родственника, члена семьи или клиента, – но отношение это должно оставаться подвижно «функциональным»; «быть в любой момент возможным, но субъективно нефиксированным, разные типы отношений должны обладать свободой взаимного обмена» [2, с. 36]. Сотрапезники усаживаются за стол не столько насытиться, сколько, вкушая, приобщиться к разговору, разделить интерес, установить и закрепить знакомство, расслабиться, отдохнуть. Такое застолье приобретает настроение игры, экспромта, символа. Собранный «свободным» интерьером атмосфера застолья предопределяет «гибко-нетребовательную общительность», «широкую открытость современного социального индивида» [2, с. 37–38].

Застолье дает уникальную возможность поближе познакомиться с кругом людей, вовлеченных в определенное направление социальной деятельности: с руководителями и подчиненными, партнерами и конкурентами, сослуживцами и клиентами. Неформальная атмосфера застолья и дополнительное время, отведенное для него, а также некая морально-психологическая раскованность и расположенность людей друг к другу, которые вдруг возникают во время трапезы, гораздо активнее, чем какие-либо другие отношения, стимулируют продвижение дел или рост карьеры. К этому имеется целый ряд предупреждений, составленных специалистами по деловому этикету: надо отдавать себе отчет, что на деловом застолье вы находитесь,

прежде всего, ради дела, а не ради еды; что застолье есть лишь повод, за которым кроется истинная причина встречи; следует позаботиться о том, как правильно вести себя за столом, чтобы не подорвать свой престиж, так как именно за такого рода неформальными контактами раскрываются индивидуальные особенности человека в отличие от встреч впопыхах или безликих телефонных переговоров; не допускайте за деловой трапезой разговоров о личной жизни или пространственных воспоминаний.

Застолье относится к универсальным, постоянно присутствующим элементам в структуре повседневности, осуществляющим себя в видовом и функциональном разнообразии. Традиционно процедура застолья репродуцирует потребности, обозначенные ценностными ориентациями, универсалиями культуры: доверие, радушие, гостеприимство, товарищество, партнерство. К столу собираются не только ради «морально-физического блага», но и ради достижения вполне определенных целей и решения практических задач. В этом отношении общее застолье включает в себе гуманистический принцип, сопутствующий истории, обогащению культуры и развитию цивилизации.

Дар – уникальное составляющее межличностного общения во всем его разнообразии. Он стабилизирует, обогащает и украшает отношение между людьми, зародившись в глубокой древности, приобретает новую вариативность и функциональную значимость на каждом этапе исторического развития.

Дар предполагает бескорыстную передачу в безвозмездное пользование чего-либо. Чаще всего в качестве дара используется вещь, угощение, деньги, всегда даваемые во благо. Особую разновидность воздаяние во благо составляет благодеяние-деятельность, заключенная в поступки, ассоциирующиеся с помощью сочувствия, приобщения к событию, случаю, ситуации.

В настоящее время трудно переоценить значение дара как в социально значимом, деловом общении, так и в повседневном, интимно-личностном. Дар – универсальная форма поддержания знакомства, выражение расположения и признательности, демонстрации нравственно-психологических принципов и глубоких экзистенциальных переживаний. Дар не экономическая и не коммерческая процедура. Вместе с тем данный феномен способен фиксировать отношение к собственности, ее наличие, олицетворять статус личности, его роль и место в социальных связях, включаться в единый процесс обмена и потребления.

Дар относится к тотальным социальным фактам, пронизывающим жизнь в архаическом обществе. В цивилизованном же обществе дар как вид обмена способствует поддержанию состояния равновесия (экономического баланса). Обмен дарами социально нормирован. Он регулируется религиозными представлениями, правовыми и моральными установлениями. Сущность дара противоречива: будучи внешне бескорыстными, он имеет скрытый утилитарный характер.

Примером строгой регламентации может служить дипломатический протокол, политические отношения, деловое общение. В этих сферах принято определять субъектов, вступающих в процесс обмена дарами, оговаривать место и время, а также вещественное выражение даров, дабы исключить корысть, подкуп, коммерческую интригу. На основе того, что любой дар или подарок несет в себе косвенную пользу,

можно поставить вопрос о возможности существования подарка как самостоятельного феномена. Условности, окружающие нечто, предполагаемое в качестве дара, аннулируют его сущность. Тогда и сущность подарка равноценна не подарку или не-истинно подарку.

Обмен дарами – субъект-субъектное отношение, состоящее из дарения, принятия дара и возвращения его. В данной динамике дар имел хождение в культуре Древней Греции и Древнего Рима и нашел визуальное воплощение в хороводе граций, который не раз вдохновлял деятелей искусства. «Что означает хоровод граций, сплетшихся руками и обращенных лицами одна к другой?» – задается вопросом Сенека. И отвечает: «То, что благодеяние, переходя в последовательном порядке из рук в руки, тем не менее, в конце концов снова возвращаются к дающему» [8, с. 17]. В этой своей композиции обмен дарами имеет не столь социальное, сколь моральное звучание.

Дар, как и любое благодеяние, есть проявление и в определенной степени материализация определенных личностных качеств. В качестве определяющих индивидуальных черт характера, способствующих дарению, Аристотель считал гордость и щедрость, Сенека – благодарность.

Щедрым, согласно Аристотелю может быть человек имущий, которому есть что предложить другому. Щедрость – «обладание серединой в отношении к даянию и приобретению имущества» [1, с. 123]. Обладающий щедростью соблюдает меру между скупостью и мотовством. Природа любой добродетели, в том числе и щедрости, как считает мыслитель, активна. Активность добродетели обнаруживает себя в совершении поступков добрых и прекрасных, а не уклонений от недоброго и постыдного. Исходя из этого, щедрость проявляет себя в конкретных поступках и действиях. Так, «щедрый будет давать во имя прекрасного и правильного: кому следует, сколько и когда следует» [1, с. 122]. В свою очередь щедрому претит и брать откуда попало и у кого бы то ни было, – так рассуждает Аристотель. Щедрый никогда не выступает в роли просителя, однако способен преступить меру в даянии и себе самому оставляет меньше, чем следует. Гордый человек или человек, обладающий чувством собственного достоинства, склонен в большей степени оказывать благодеяние и дарить, нежели принимать самому, так как в первом случае происходит нравственное возвышение, а во втором, возникает косвенная зависимость, принятая на себя обязанность отдарить, ответить благодеянием на принятое благодеяние.

Дар только тогда дар, когда он сопровождается возвышенным состоянием духа. Душевный порыв одарить или облагодетельствовать значительнее того, что дается и что делается. «Дух возвышает малое, – пишет Сенека, – очищает нечистое и лишает цены великое и слывшее ценным» [8, с. 20]. Благочестие и добродетельность ведут к подлинному благодеянию без расчета на вознаграждение или возмещение. И вместе с тем, любое благодеяние, выраженное предметно или действенно, ищет отзвука в оценке, памяти, одобрении. Однако неблагодарность не должна препятствовать благим деяниям и дарам, – считает Сенека, хотя и относит неблагодарность к самому тяжкому проступку. «Не отступай, продолжай свое дело», – призывает он. «Подавай помощь кому средствами, кому кредитом, кому расположением, кому советом, кому полезными наставлениями» [8, с. 16].

Воздаяние в любой форме (благотворительность, подарки, помощь, уговоры, утешения, похвала) доставляют радость и удовлетворение тому, кто их совершает. Этот психологический эффект Ницше толкует как «радость доставления радости», как «счастье малейшего превосходства» и «богатейшее средство утешения». Если, – считает философ, – дарение и благодеяние сделать правилом, то это может быть неопределимым средством борьбы с угнетенным духом [5, с. 120–121].

Сущность дара и его отличительные особенности как коммуникативного фрагмента определяются процедурой преподнесения и принятия. Искажение или отклонение от нее способны превратить дар в торг, кредит, сделку, взятку, ростовщичество, ссуду, подачку.

Парадокс дара состоит в том, что он не только оптимизирует отношения, но и способен привнести в их ход негатив, деструкцию: поставить в зависимость, унижить и даже оскорбить.

Дар или благодеяние способны создать иллюзию добра или утвердить зло в таких его формах, как подкуп, месть, лицемерие. Например, задаваясь вопросом, почему римляне подозрительно относились к подаркам жен мужьям и мужей женам, Плутарх считал, что отказ от подарков устраняет из супружества возможность угождать и преследовать корыстные намеренья. «А может быть дело в том, – рассуждал Плутарх, – что у мужа и жены все должно быть общим? Ведь кто принимает подарок, тот показывает этим, что все остальное, не даренное, не его, так что, даря друг другу малое, супруги отнимали бы друг у друга целое» [6, с. 183].

Благодеяния и дары теряют свою притягательность, если вызваны просьбой или долгими проволочками, – подлинные вознаграждения превосходят желания. Дар не может быть ничтожным или оказанным всуе. Факт дара превышает меру жестокой необходимости.

Парадокс дара «снимается» соблюдением техники исполнения процедуры преподнесения – принятия и выявления его функционального значения. Как и с какой целью – эти рефлексивные послы способствуют утверждению дара как исключительно дара без его теневого сопровождения.

Инструментализм процедуры принятия и преподнесения дара, как утверждение его смыслового значения, в своем становлении имеет давнюю культурную традицию и нашел выражение и закрепление в наглядных ритуальных действиях. Визуальная основа установления разветвленной коммуникативной системы через дар дополняется вербальной и текстовой. Уже в Ветхом завете, древнейшем памятнике культуры, можно встретить наставления: «Многие заискивают у знатных; и всякий – друг человеку, делающему подарки» [Пр., гл. 19, п. 6]. Проблему дара во всей ее противоречивости можно обнаружить и в мифологических сюжетах и их однозначных предупреждениях: «Бойся данайцев и дары приносящих». В народных традициях стереотипы поведения, связанные с процедурой дарения, облечены в пословицы и поговорки: «Дар дара ждет».

Обмен дарами регулируется системой социально-нравственной нормативности. Стереотипы поведения, характерные для данной процедуры, закрепляются благодаря системе требований к поведению, которые переводят долженствование в обязанность.

Долженствование как таковое декларирует морально необходимое в предельно обобщенной тенденции, принципе. Обязанность тяготеет к уточнению, определению и в этой своей сути она есть не что иное, как «руководство в повседневной жизни» (Цицерон). Всякое долженствование облекается в сумму обязанностей, приобретших характер рекомендаций. Они носят несанкционированный, неинституциональный и часто анонимный характер. Обязанности упорядочивают социальные процедуры и коммуникативные акты, рекомендуя конкретное действие, поступок. Порой такие рекомендации есть не что иное, как правила этикета.

Дар предполагает особый эмоциональный строй: он охотно и без колебаний преподносится и также принимается. Обмен дарами требует соблюдения учтивости и любезности, а также соблюдения субъектами, объединенными дарами, некоего нравственного принципа: «Один должен тотчас забыть об оказанном, другой – никогда не забывать о полученном благодеянии» (Сенека). Здесь неуместны ни пренебрежительность, ни подобострастие. Дарами не похваляются и о них, как правило, не напоминают, а колебание и нерешительность в процедуре преподнесения и принятия дара способны исказить факт дара как такового.

В истории развития культурных форм общения определились такие виды даров и благодеяний, которые и настоящее время являются неотъемлемым элементом социокультурного взаимодействия субъектов.

Как вид дара или вариант благодеяния предстает приглашение разделить трапезу или угощение. Гостеприимство имеет национально-этнографические традиции, регулируется нравственными и этикетными предписаниями и облекается порой в сложные ритуальные действия. В славянской культуре гостеприимство – наиболее почитаемое благодеяние.

К действиям, направленным на благо кого-либо, относятся милостыня, попечительство и благотворительность. Если рассматривать «светское» хождение милостыни, то такая форма благого деяния весьма условна. Даже если это способ оказания помощи, то в нем присутствует концепт морально-психологического унижения со стороны субъекта-просителя. В свою очередь и мотивы субъекта подающего не ведут к нравственному возвышению. Милостыня связана «с такой добротой, которая не предполагает размышления о том, достоин тот или иной пожертвования или нет», – утверждает И. Кант. Дальше заключает: «Было бы лучше придумать другой способ помощи бедным, который не унижал бы людей, принимающих ее» [4, с. 307]. Такими более совершенными приемами оказания благотворительности, при которых отсутствует личный контакт берущего и дающего, становятся воздаяния, включающие в себя длительную и целенаправленную поддержку (как материальную, так и моральную) определенной категории лиц.

В настоящее время дары и благодеяния используются для поддержания деловых отношений. Дар приобретает символическое значение и освобождается от морально-психологического контекста, связанного с добродетелями. Он становится знаком, свидетельством сотрудничества, внимания. Подарки в деловых отношениях формально способствуют «созданию атмосферы доброжелательности и для налаживания доверительных отношений, они могут активизировать бизнес и

утвердить благоприятный деловой климат» [4, с. 191]. Обмен дарами регулируется предписаниями служебного этикета. Предписания, указывающие на условия, при которых следует использовать факты дарения, могут приобретать статус административных норм.

Благодетельства в отличие от даров свидетельствуют о моральном потенциале фирм и предприятий. По сути дела это нравственно практическая деятельность, которая регулируется принципами корпоративной этики. Благодетельство в виде благотворительных актов предстает как помощь, демонстрирующая внимание к людям, выражающая себя в награждениях, субсидиях, благодарностях, трудоустройстве.

Дар обладает устойчивой аксиологической значимостью: являет собой факт, наполняющий смыслом повседневное бытование. Находясь в неограниченном богатстве проявлений – от предметно-вещного многообразия до социально-практической поведенческой активности, дар способен переводить внутреннюю динамику социальной жизни во внешние формы проявления, разнообразя ее и декорируя.

В повседневности этикет обнаруживает себя многопланово. Любой структурный сегмент повседневности, помимо тех, которые взяты для примера (речь, застолье, дары, одежда), вмещает в себя этикетное в той мере, которая обеспечивает устойчивость, упорядоченность, соответствие. Своим присутствием этикет фиксирует наличный уровень культуры повседневности. С одной стороны, он может быть истолкован сам как то, что непосредственно относится к повседневности в качестве установленных приемов поведения, которые воспроизводятся и воплощаются в более сложные социальные образования, а с другой стороны, – этикет может быть представлен как процесс осуществления оповседневнивания.

Литература:

- Аристотель. Никомахова этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1983. – Т. 4.
Бодрийяр Ж. Система вещей. – М., 1995.
Кант И. Антология с прагматической точки зрения // Сочинения в 6 т. – М., 1966. – Т. 6.
Кант И. Из «Лекций по этике» (1780–1782) // Этическая мысль. Научно-публицистические сочинения. – М., 1990.
Ницше Ф. Генеалогия морали. Памфлет. По ту сторону добра и зла // Избр. произв. – М., 1990.
Плутарх. Застольные беседы. – Л., 1990.
Сенека А. Л. Нравственные письма к Люцилию. – М., 1977.
Сенека А. Л. О благоразумии // Римские стоики: Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. – М., 1995.
Фрезер Д. Золотая Ветвь. Исследование магии и религии. – М., 1983.
Хайдеггер М. Бытие и время. Статьи и выступления. – М., 1993.
Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге: Сборник. – М., 1991.
Честерфилд. Письма к сыну. Максимумы. Характеры. – Л., 1971.
Эпиктет. Афоризмы // Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. – М., 1995.

УДК 18+165.021

Поліщук О. П.

ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ В КЛАСИЧНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ

Анализируется вопрос природы и потенциала художественного мышления в европейской мысли конца XVIII–XIX века.

Ключевые слова: искусство, образ, мышление.

The article is devoted the question of nature and possibility of art thinking in the European thought by the end of XVIII–XIX century.

Key words: art, character, thought.

«Людина завжди була й буде одним з найцікавіших явищ для людини», – так стверджував В. Белінський. І однією з її здатностей, що привертає увагу дослідників різних галузей знання, є мислення. Адже, як констатував Б. Паскаль, завдяки думці людина спроможна «обійняти Всесвіт». Думка також – засіб її самопізнання. «Істота, що рефлексує, – як підкреслював П. Тейяр де Шарден, – завдяки зосередженню на самій собі раптово стає здатною розвиватися в новій сфері. Насправді це виникнення нового світу» [5, с. 135–136]. Через рефлексію набуваємо знання про особливу таїну – «внутрішній світ» особистості.

Одним з малодосліджених феноменів людської думки є художнє мислення. Природа й специфіка цього явища привертає увагу фахівців різних наук, передусім психології (Г. Базеян, О. Горбачова, М. Марков, Б. Мейлах, В. Ротенберг), гносеології (О. Іліаді, Т. Орлова), мистецтвознавства (С. Вайман, Г. Нейгауз, М. Соколов, Г. Ципін), естетики (А. Андрєєв, В. Герасимчук, Г. Ермаш, М. Ігнатенко, І. Ільницька, О. Оніщенко).

Найчастіше цариною художнього мислення вважають художню творчість, відповідно його результатом в такому разі є мистецька новація. Тому митця розглядають як носія художнього мислення, й побутування цього явища пов'язують з набутим досвідом і вродженими здібностями людини. Зокрема, Г. Ермаш стверджує: «Художнє мислення є одним з евристичних факторів творчого процесу в мистецтві» [3, с. 40]. Воно забезпечує «перероблення інформації» та «вирішення задачі» створення художнього твору. Схожу позицію фіксуємо й у міркуванні М. Гончаренка. Досліджуючи витоки таланту О. де Бальзака, він підкреслює: «Так, припущення, що Бальзак став геніальним письменником завдяки надлюдській, титанічній праці, – це лише половина істини. Інша її половина говорить про те, що колосальна праця Бальзака в свою чергу була результатом його колосального дару до художнього мислення та уяви» [2, с. 183] Завдяки їм і народжувались замисли творів, виникав «потік» художніх образів, набували самобутніх рис стиль і форма художніх творів.

Однак у наукових розвідках, на нашу думку, не приділено достатньої уваги до аналізу проблеми художнього мислення в історіософському аспекті. Це малодосліджений напрям її вивчення. Серед праць, присвячених осмисленню

специфіки розвитку художнього мислення в історичному ракурсі, – на жаль, нечисленних, – насамперед необхідно назвати монографію М. Ігнатенка «Генезис сучасного художнього мислення». У ній досліджено художнє мислення античності, середньовіччя й Нового часу, осмислено риси спадкоємності художнього розвитку європейської культури протягом цих епох, розглянуто розвиток художнього мислення в східних слов'ян.

Завданням нашого дослідження є вивчити естетичну спадщину мислителів XVIII–XIX століть, а саме те, як розробили проблему специфіки й потенціалу художнього мислення І. Кант, І. В. Гете, Ф. Шиллер, Г. В. Ф. Гегель.

І. Кант у працях, передусім у «Критиці практичного розуму» і «Критиці здібності судження», поділяє душевні здібності людини на «чистий» розум, практичний розум і здібність судження – пізнання, волю (моральність) та судження про красу й доцільність. Останні, на думку видатного німецького філософа, пов'язані з мистецтвом. Естетичні судження мають суто суб'єктивний характер. Мистецтво завдяки образному характеру побутування виступає особливою формою пізнання людиною світу та діяльності.

Художній образ (у термінології Канта – «естетична ідея») багатший на зміст за поняття. Це «подання уявлення», що спонукає до роздумів. Але йому жодне інше поняття, як певна думка, не може бути цілком адекватним. Воно «саме по собі дає привід так багато думати, що цього ніколи не можна охопити в певному понятті...», – стверджує мислитель. У ньому «естетично розширюють саме поняття навіть до безмежності», а отже, «уявлення при цьому буває творчим і приводить у рух здібність інтелектуальних ідей (розум) саме для того, щоб відносно цього подання мислити більше (хоча це стосується вже поняття про предмет)...» [4, с. 62]. Така думка філософа наводить на певні роздуми.

Вочевидь, Кант осмислює специфіку результативного моменту художнього мислення. Глибокий аналіз природи та особливостей художнього образу як форми існування твору мистецтва, на нашу думку, засвідчує це. Комунікативний аспект його побутування Кант теж помічає. Але чи вважає мислитель, що формою художнього мислення в процесуальному аспекті теж є «естетична ідея»? На це питання важко дати однозначну відповідь. Передусім тому, що в працях філософа не зустрічаємо терміна, адекватного поняттю «художнє мислення». І поняття естетичної ідеї, якщо спиратися на текст § 49 «Критики здібності судження», тільки певною мірою відповідає сучасному трактуванню поняття «художній образ». Однак слід звернути увагу, що Кант розглядає деякі різновиди пізнання, зокрема «історичне», «розумове», «філософське», «естетичне». Мова йде про опубліковані посмертно матеріали до курсу логіки (1770–1780 роки).

Стосовно естетичного пізнання мислитель виділяє такі його ознаки: задоволення людини від залучення до нього, узгодження результатів чуттєвого споглядання і даних розсудку (здорового глузду), упорядкованість та узгодженість відповідно до певного задуму, практичне спрямування. Тезисний характер цієї праці Канта не дає змоги чітко, в розгорнутій формі представити думку мислителя. Проте звернемо увагу на те, що вжите поняття «естетичне пізнання» і що воно виділене як форма (вид)

людського пізнання. Аналізуючи цей феномен, І. Кант його характерні ознаки окреслює через протиставлення властивостей і рис передусім логічного пізнання, дискурсивного роздуму. Загалом це й наводить на думку, що Кант торкається все ж таки не лише результативного, а й процесуального моментів мислительного акту, наслідком якого є поява твору мистецтва як носія особливого знання.

Для осмислення історичного опрацювання проблеми художнього мислення, на нашу думку, становить інтерес і творчий доробок І. В. Гете, який висловив цікаву думку про своєрідність людського пізнання. Людині загалом притаманне прагнення до цілісного пізнання дійсності, а саме пізнання в єдності волі й розуму. Однак реалії повсякденного життя цьому не сприяють, наслідком цього є недосконалість результатів її діяльності. «Покращити» недосконалу дійсність, на його переконання, людина може через мистецтво. Воно немовби виступає засобом гармонізації, вдосконалення суцього, в тому числі самої людини. Тому особа митця, її внутрішній світ, засади творчості викликають у мислителя значний інтерес. Для Гете митець – особлива людина, якщо можна так сказати.

За Гете, майстерність і досягнення митця залежать від низки чинників, передусім смаку, інстинкту, постійного тренування, набутого досвіду, допитливості. Але це справедливо й щодо багатьох інших натур. Що ж тоді особливе притаманне саме митцеві? Насамперед, здатність «земні засоби» використовувати задля своїх «вищих намірів», – стверджує мислитель. Деяке уявлення про гетівські уявлення стосовно них дають спогади Г. П. Еккермана. «Митець хоче показати світу ціле, але цього цілого він не знаходить в природі, воно є плодом його власного духу...» [7, с. 708]. У мистецькому творі «вільний дух» його творця «стоїть над природою», він трактує її відповідно до своїх прагнень. Твір мистецтва є через це немовби «вищим за природу». Іншими словами, в мистецької новації особливі джерела появи. Наприклад, коли художник малює картину, то може точно «скопіювати природу» у її окремих деталях. Але картина стає справжнім витвором у вищих сферах художнього втілення завдяки його уяві. Митець породжує ніби світ ідеального буття та водночас відтворює реальне буття різноманітних природних об'єктів. Він «творець інших світів», але також ще й людина, яка в особливий спосіб набуває знання про прийдешній світ. І все це фіксує результат пізнання та творчих зусиль митця – твір мистецтва. До того ж, за Гете, митцеві властиве й ще дещо, що робить його особливим, а саме: вроджене знання світу. Мається на увазі знання світу внутрішнього – світу людських настроїв, переживань, почуттів та подібного, а не емпіричного світу явищ. Ця думка мислителя є цікавою у зв'язку з аналізом проблеми художнього мислення.

Слід констатувати: таке переконання мислителя про джерела знання, що притаманні митцеві, схоже з ідеєю Канта про апіорні форми людського пізнання та знань. Гете визнає наявність апіорного знання, існування якого пов'язує з вродженою здатністю митця осягати глибини душевного життя інших людей, та апостеріорного знання в людському бутті. Завдяки цьому поет, письменник, художник, композитор тощо спроможний до антиципації. Вона допомагає відтворювати чи розуміти світ таким, яким він є насправді. За її допомогою світ постає таким, яким його уявляє митець. А точніше, уявлення про світ, яке сформував

митець, відповідає дійсності. Іншими словами, деякі люди наділені особливою пізнавальною здібністю, що відкриває перед ними незвичні для більшості людей можливості пізнання. Поєднання вродженого й набутого знання робить митця відмінним від інших. Елітарна пізнавальна властивість, яку іноді зустрічаємо серед людей, обумовлює їх незвичні можливості. І пов'язана вона з естетичним началом.

Зазначене вище дає змогу стверджувати, що Гете розробив оригінальну концепцію природи й специфіки художнього пізнання. Останнє він мислить як феномен, пов'язаний із творчістю митця. Гете порушує питання особливостей змісту, джерел і потенціалу художнього знання. Однак мислитель достатньо специфічно розуміє того, кого, власне, слід вважати справжнім митцем, і що таке справжнє мистецтво. У праці «Просте наслідування природи, манера, стиль» він висловлює думку про існування трьох різновидів того, що найчастіше охоплює поняття «мистецтво»: «наслідування природи», романтична «манера» та «стиль». Просте наслідування природи ґрунтується на природному таланті точно відтворювати форми й кольори природних об'єктів. Тренування очей та рук його підсилюють. У простому наслідуванні вельми точно, реалістично відтворено натуру, і «навіть обмежена, але здібна людина може таким чином передавати приємні, хоча й обмежені сюжети» [1, с. 11] Тобто, на думку Гете, сюжети чи предмети «спокійні», легко доступні для передавання через споглядання та відтворення натури.

Під манерою Гете розуміє більш складний спосіб появи мистецьких новацій. Через вираження власного ставлення до природи, розкриття «неповторності духу», створення особливої художньої мови виникає такий твір мистецтва. Тут натуру не споглядають, а відтворюють по пам'яті. Митець надає їй форму, в яку привносить щось своє. «Так виникає мова, у якій безпосередньо виражений розум того, хто говорить...», – підкреслює філософ. «Відповідно до того як поняття про побутові предмети в душі кожного, хто самостійно мислить, розподіляються й складаються по-іншому, так кожен митець бачить, охоплює і передає світ по своєму...» [1, с. 11]. Подібний спосіб відтворення дійсності найчастіше застосовують, створюючи, наприклад, пейзаж у живописі. Тут, як наполягає мислитель, важливим є уявлення про ціле, а не окремі його деталі. Такий шлях появи твору мистецтва за витоки має передусім людську суб'єктивність: внутрішній стан та наявний досвід автора. Однак натуралістичне «наслідування природи» та вироблення особливої «манери», на думку Гете, власне не є мистецтвом у його справжньому вияві. Тільки «стиль» дає зразки справжнього мистецтва. Стиль ґрунтується на «глибоких твердинях пізнання, на сутності речей, наскільки її можливо пізнати у видимих та тілесних образах» [1, с. 14]. Митець тут глибоко осягає предмет, його властивості й стани. Йому властиве вміння «тонко» відчувати й розуміти мінливості форм проявлення предмета зображення, притаманна здатність помічати найхарактерніше в ньому.

Думки Гете про особистість – творця мистецьких новацій, висловлені в праці «Просте наслідування природи, манера, стиль» та вступі до «Пропілеї», є співзвучними з його ідеєю про джерела знання в митця. І це наводить на роздуми про оцінку Гете специфіки і значення мислення як підґрунтя художньо-творчого акту. Однак слід констатувати, що він спеціально не аналізує, а лише торкається цього

питання, розглядаючи проблему особистісних рис митця. З одного боку, Гете постійно підкреслює значення розуму, роздумів, аналізу в творчій діяльності того, хто породжує твори мистецтва. Тобто він підкреслює значення раціонального моменту, в тому числі й мислення, для виникнення мистецької новації. Гете також зазначає важливість чуттєвості, споглядання в набутті знань про природу. Адже це підґрунтя для подальших розмірковувань. Надає він значення і фантазії, уяві людини як джерелам породження твору мистецтва. Але з другого боку, він порушує питання про наявність ірраціонального субстрату, що стимулює мислення і творчий процес особливої людини, яку він проголошує «справжнім митцем», а саме «вродженого знання» та антиципації. Така позиція Гете, як ми вважаємо, є оригінальним явищем в історії естетичної думки.

Антиципація та емпатія (хоча спеціальних термінів для позначання цих явищ мислитель не дав) є джерелом, а точніше способом набуття знань митця про світ. Така думка свідчить, на наш погляд, про те, що Гете визнавав раціональні засади творчості, дискурсу, і водночас був переконаний у вагомості позараціонального моменту мислення та творчої діяльності. Згідно з такими міркуваннями, не можна вважати інтелігібельне знання єдиним джерелом стимулювання пізнання, мислення та творчості у митця. За Гете, «містична компонента» – елітарне знання як підґрунтя творчої наснаги, набуте через антиципацію та емпатію, властиве тільки окремим творцям мистецьких інновацій – «справжнім митцям». І це дає підставу не погоджуватись з оцінкою його позиції щодо джерел й специфіки пізнання, мислення, художньої творчості як емпіризму, яку дали деякі дослідники (А. Левінтон, М. Ліфшиц, М. Овсянніков). Гете, осмислюючи питання природи і специфіки художнього мислення й творчості, тяжіє, на нашу думку, до ірраціоналізму, визнаючи особливу значущість позалогічних компонентів у системі їх детермінації.

Серед німецьких мислителів кінця XVIII – початку XIX століття, що зробили вагомий внесок у розвиток естетики, слід згадати й Ф. Шиллера. Кантівська теорія пізнання значною мірою вплинула на його естетичну думку. Шиллер не займається поглибленим аналізом питання джерел і особливостей знання людини, однак деякі його думки становлять інтерес у зв'язку з розглядом цієї проблеми. Він, як митець, немовби «зсередини» прагне осмислити мистецтво в його історично-культурологічному вияві. Порівнюючи культуру античності та сучасної йому епохи, Шиллер доходить думки: античним грекам була властива органічна єдність «усіх надбань» мистецтва й «переваг мудрості» в усіх сферах її прояву. Вони водночас були мислителями й митцями. Антична Греція перебувала в особливому злеті духовних сил, тут «почуття та розум ще не володіли чітко розмежованими сферами...» [6, с. 60]. А сучасна європейська культура, як вважає мислитель, втратила подібну «простоту»: вона надає примат здоровому глузду, розуму, дискурсу перед почуттям. Така культура «поранила» людство: «...розпався і внутрішній союз людської природи, й пагубне суперництво роздвоїло її гармонійні сили» [6, с. 60]. Нині європейська культура є принципово іншою, ніж за часів античності. «Розсудок споглядальний та умоглядний, налаштовані тепер вороже, розмежували поле своєї діяльності й стали підозріло й ревно оберігати свої кордони», – стверджує мислитель.

Кожен з них прагне придушити, витіснити, а не доповнити іншого. «Дух абстракції» заглушує фантазію й «прагнення серця». І тому людина більше не має тих висот досконалості, які були їй властиві в античні часи.

На нашу думку, проблема, що її порушив Шиллер, вельми цікава. Мислитель звертає увагу на те, що в сучасному європейському бутті *ratio* домінує над *sensus*, культура спирається на здобутки техніки і науки, достатньо зневажливо ставляться до мистецтва лише як «простої розваги», пізнаючи та освоюючи світ, прагнуть до абстрактно-логічного мислення і дискурсу. В «колисці» ж європейської культури ситуація була іншою: мислення тогочасної людини спиралось і на логічно-дискурсивний, й на позалогічні фактори. В ньому художній елемент виступав одним з вагомих чинників. Така думка мислителя зацікавлює передусім потрактуванням проблеми природи й потенціалу художнього мислення не лише як феномена індивідуального, а й загальнокультурного.

Г. В. Ф. Гегель теж торкається проблеми природи та специфіки художнього мислення. В праці «Наука логіки» німецький філософ ставить питання про «вищий» та «нижчий» рівні пізнання. І, аналізуючи їх, оперує терміном «*ideale*» – ідеальне як прекрасне та «*ideelle*» – ідеальне як нематеріальне. За Гегелем, поняття *ideelle* фіксує «вищий момент» глибини знань людини про прояви духу: відношення скінченого до нескінченного. А термін *ideale* означає набуття нею знання про моменти скінченого. На нашу думку, його можна потрактувати як мислення, яке не має суто логічно вигляду: не базується виключно на дискурсі як аналізу й порівнянні якостей «скінченого» стосовно до «еталону» – Духу. І проявляється воно завдяки прекрасному – у чуттєво-конкретній формі художнього твору.

Загалом, оцінюючи ступінь опрацювання проблеми художнього пізнання й художнього мислення в класичній німецькій естетиці, слід констатувати її безсумнівно значний внесок у теоретичне осмислення цього питання. Мислителів цієї епохи цікавить передусім специфіка мислення митця як необхідна умова художньої творчості та чинників його детермінації як важливого фактора історичного поступу мистецтва. Останнє визнано особливою формою людського знання і важливим елементом людського буття. Спираючись на ідеї передусім Платона, Плотіна, Аврелія Августина, представники німецької класичної естетики поглиблюють уявлення про витоки художнього мислення. Одні з них приділяють увагу до внутрішнього світу митця як детермінанті його мислення та творчості. Інші обстоюють думку про «божественні витоки» мистецтва і, відповідно, про провіденційний характер творчості митця. Однак слід зауважити, що в кожній з них однаково визнано своєрідність мислення митця та його значущість як фактора творчості.

З'ясовуючи його природу, вирізняємо декілька думок. Визнано, що воно корениться у *ratio* людини і базується на даних чуттєвого споглядання; виступає інтенцією «духу» людини, яка є особливою істотою або через «божественний задум» – провіденцію, або внаслідок особливого положення людини на рівні її родової сутності; залежить значною мірою від позасвідомих чи ірраціональних імпульсів творчості митця (інстинкту, фантазії, уяви, осяяння); обумовлене внутрішнім світом і станом людини; спирається як на логічно-дискурсивний, так і позалогічний чинники.

Стосовно результативного моменту художнього мислення спостерігаємо певну однотайність думок мислителів XVIII–XIX століть: його наслідком визнано появу твору мистецтва. Формою побутування останнього визнано художній образ (або сукупність художніх образів). До того ж у цей період спостерігаємо прагнення осмислювати художню творчість, художнє мислення й пізнання не тільки в індивідуальному плані – як особистісне явище, а і в його соціокультурному вияві.

Література:

1. *Гете В.* Статьи и мысли об искусстве. – Л., М., 1936.
2. *Гончаренко Н. В.* Гений в искусстве и науке. – М., 1991.
3. *Ермаи Г. Л.* Искусство как мышление. – М., 1982.
4. Кант И. Критика способности суждения // История эстетики. – Т. 3. – М., 1967.
5. *Тейяр де Шарден П.* Феномен человека. – М., 1987.
6. *Шиллер Ф.* Письма об эстетическом воспитании // Статьи по эстетике. – М.-Л., 1935. – Письмо шестое.
7. *Эккерман И. П.* Разговоры с Гете в последние годы его жизни. – М.-Л., 1934.

УДК

Сабадаш Ю. С

ГУМАНІЗМ ТА АНТИГУМАНІЗМ В ІТАЛІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

В статье рассматриваются предпосылки и основные положения итальянского гуманизма в его авангардных направлениях XIX–XX веков (Б. Кроче, Ч. Ломброзо, Л. Пиранделло и др.).

Ключевые слова: гуманизм, модерн, творчество, искусство, интуиция.

The article deals with the main statements in Italian humanism and its vanguard trends of XIX–XX centuries (B. Croce, Ch. Lombroso, L. Pirandello etc.).

Key words: humanism, modern, art, creativeness, intuition.

Через особливу національно-історичну ситуацію в Італії набула гостроти криза моральних, духовних та естетичних цінностей, яка була притаманна італійській культурі цього періоду. На межі століть не тільки остаточно руйнуються романтичні ідеали Рісорджіменто, але зазнає краху й віра інтелігенції 70–80-х років у позитивістські постулати науки та аналізу фактів як «засобу оволодіння дійсністю» (Р. Де Санктіс). У філософії відроджуються ідеалістичні вчення, які вступають в боротьбу з позитивізмом і натуралізмом, насамперед як із певним світоглядом та ідеологією попередньої епохи. Посилюється інтерес до філософії Ф. Ніцше, до інтуїтивізму Бергсона, поширюються агностицизм та прагматизм.

У цей період культурна криза охоплює загальнолюдські цінності й принципи традиційної моралі, літературні форми й напрями. Молода творча інтелігенція Італії гарячково шукає шляхи та способи оновлення культури, естетичної сфери, прагне додати мистецтву й культурі «динамічності», властивій реальності нового століття, зробити їх засобами виявлення індивідуальності. На цьому ґрунті легко досягають успіху антигуманістичні й антидемократичні концепції. Так, націоналістичний світ стає синонімом пробудження національної енергії; ідеал прекрасного набирає вигляду культу індивідуалізму, сильної особи, якої нібито потребує країна для виконання своєї «історичної місії» – створення «латинської імперії». Зокрема, ніцшеанські ідеї набувають на італійському ґрунті специфічних аспектів, сприяючи виникненню націоналістської ідеології, що просочується в культуру. Мета статі – проаналізувати соціально-культурні передумови, які надали ідейного забарвлення італійському авангарду, перш за все футуризмові.

У більшій частині творчої інтелігенції наростають песимістичні настрої. Духовну й житейську вульгарність ці художники трактують як неодмінну й нездоланну умову для будь-якого людського співтовариства, у якому людина приречена на самоту, відчуженість, нерозуміння. Виникає сумнів щодо самої можливості об'єктивного бачення реальності, яка розпадається на фрагментарні враження. Таке світобачення, як інша форма кризи італійської культури, зберігало гуманістичний настрій, але разом з тим несло в собі зневіру в можливості розуму осягнути складнощі й таємниці життя,

створити органічну систему цінностей, а це приводило до скепсису, а інколи й до пошуків спіритуалістичних виходів.

Надзвичайно важливу роль у загальній переорієнтації італійської культури на гуманістичні цінності відіграв видатний філософ, теоретик мистецтва і літературний критик Бенедетто Кроче (1866–1952). Його естетична концепція наклала свій відбиток на розвиток гуманістичної, мистецтвознавчої та критичної думки Італії всієї першої половини ХХ століття; декілька поколінь італійської інтелігенції жваво сприймали ідеї Кроче в тих або інших аспектах і проявах. Заснований Кроче в 1903 році журнал «Критика» став впливовим інформаційним органом, на сторінках якого він сорок років публікував свої статті. Найенергійніше в перші десятиліття ХХ століття Кроче боровся проти епігонського позитивізму у філософії й літературознавстві, проти застійного клерикалізму в культурі. Кроче давав бій ірраціоналістичним тенденціям, рішуче відкидав декадентські міфи, особливо націоналістичний, цурався авангарду як пошуку «модерного» будь-якою ціною. У статтях Кроче дав глибоку оцінку справжнім досягненням мистецтва об'єднаної Італії, простежив плідну попередню традицію, відзначав елементи оновлення й необхідності затвердження гуманістичних традицій. Докладніше діяльність Б. Кроче ми аналізували в своїх попередніх роботах.

Крім філософії, мистецтвознавства, літератури неабиякий внесок у розвиток гуманістичних ідей зробила, як не дивно, й психологія. Італія цього періоду дала світу одного з найвідоміших психологів – Чезаре Ломброзо (1835–1909). У 1856 році він закінчив університет у Павії, а з 1862 року став його професором, присвятивши все своє життя судовій психіатрії та антропології. Проте Ч. Ломброзо не залишився байдужим до гуманістичних проблем сучасності. У своїй знаменитій роботі «Геніальність і божевілля» він розглядає питання про роль генетичного фактора у явищі творчої геніальності та її проекцію на психічний стан митця. Його ідеї привернули увагу інших фахівців та вчених (Е. Кречмер, Ф. Гальтон), надихнувши їх на осмислення й подальше дослідження як «позитивного», так і «негативного» варіантів аналізу спадкового фактора в мистецькій творчості.

Аналізуючи вплив спадковості на геніальність та божевілля, Ч. Ломброзо звертається до фактів, що, власне, стають поштовхом для його висновків та узагальнень. Дослідник особливо наголошує на «опосередкованому впливі спадковості на геніальність, що може виявитися тільки на непрямих родичах генія, оскільки він здебільшого не передає своїх якостей нащадкам» [1, с. 239]. Досліджуючи проблеми взаємопов'язаності геніальності й божевілля, Ломброзо розглядав їх у зв'язку з іншими сферами інтелектуальної діяльності, де творчість неодмінно виявляє свої потенційні можливості.

Розглядаючи ідею патологізації творчості, викладену в дослідженнях італійського психолога, Л. Левчук відзначає: «Звернувши увагу на психологію митця, специфіку проявлення геніальності в процесі художньої творчості, Ломброзо обґрунтовує ідею “невропатичності” геніальних людей, проводить паралель між геніальністю і психічними аномаліями» [2, с. 82].

Слід додати, що сміливі висновки й ідеї Ч. Ломброзо, зокрема й про емоційне збудження людини через музичні впливи, що межує зі сферою божевілля, позитивно

поцінували тогочасні психоаналітики.

Показово, що й через півтора століття робота Ч. Ломброзо «Геніальність і божевільня» не втратила своєї значущості, хоча так і не одержала певної оцінки. Так, О. Оніщенко, аналізуючи специфічні особливості праці італійського психолога, наголошує на її певній переваженості, підкреслюючи тяжіння «...до надмірної масштабності. Бажання дослідника охопити якомога більший спектр проблематики зумовило причину поверхового аналізу надзвичайно продуктивних ідей, що не були належним чином відпрацьовані. Серед них особливе місце посідає питання гумору і специфіка його виявлення у мистецтві» [3, с. 46]. М. Арнаудов робить акцент на впливі ломброзівських ідей на подальше вивчення проблеми: «Ломброзо створив велику школу своїми сенсаційними відкриттями, що підтвердили... здогадки багатьох незнайомих з творчою психікою людей про щось ненормальне у генія» [4, 41]. Ця праця зацікавила і Фрейда, який виступав апологетом концепції спадковості в художній творчості, що її запропонував італійський психолог. У межах психоаналізу вона не набула ґрунтового осмислення, проте факт успадкування наукових орієнтирів дослідника очевидний [1, с. 239].

Не менш популярним в Італії цього періоду був письменник Луїджі Піранделло (1867–1937), у творах якого трагічно надломлені моменти духовного життя італійського суспільства початку ХХ століття відображені з найбільшою художньою силою і глибиною психологічного проникнення. Як прозаїк, він збагатив національну традицію, трансформував веристську новелу, відкривши нові перспективи для морально-психологічного роману. Свої філософсько-естетичні погляди Піранделло сформулював в статті «Мистецтво і свідомість сьогодні» (1893), де розгорнуто критикував позитивізм, схилиючись до релятивізму, до заперечення провідної ролі розуму в процесі пізнання: «Ми не можемо мати про життя жодного чіткого знання, жодного точного уявлення, а лише мінливі й примарні відчуття» [5, с. 189]. Піранделло спирається не на загальні досягнення сучасної науки, а на психіатрію, яка, на його думку, лише одна здатна пояснити складні внутрішні процеси, які переживає сучасна людина.

З гіркотою Піранделло говорить про кризу ідеалів, характерну для італійської дійсності 90-х років, про самотність особи й спустошеність молодого покоління, яке вступає в життя без віри в ідеали. Піранделло гостріше, ніж багато його сучасників, відчув кризу свідомості та її історичні, соціальні й психологічні причини. У мистецтві ця криза виявилася в швидкій зміні різних шкіл і течій: «Учора реалізм і натуралізм, сьогодні символізм і містицизм, хто знає, що буде завтра?» Для Піранделло твір мистецтва – результат безпосереднього переживання, і народжується він не на основі якогось наперед обдуманого плану або міркування, а повинен вилитися безпосередньо з почуття.

Ці ідеї розвинуто в трактаті «Гуморизм» (1908), у якому Піранделло викладає свою теорію зображення життя в мистецтві. Трактат складається з двох частин: у першій частині йдеться про природу комічного – автор робить екскурс в історію розвитку гумору в світовій літературі; у другій частині він розглядає взаємостосунки мистецтва і життя, проблему творчості й відображення особи в мистецтві та окреслює

особливості свого художнього методу, спираючись на філософський релятивізм, популярний на початку ХХ століття.

«Життя – це нескінченний потік, – говорить Піранделло, – який ми намагаємося зупинити й зафіксувати в певних нерухомих формах усередині і зовні нас, тому що ми самі є вже фіксованими формами...» Пізніше Піранделло назве ці форми «масками». «Поняття й ідеали, – продовжує Піранделло, – це ті ж форми, як і всі наші помилкові уявлення, умови і стани, в яких ми прагнемо відобразити себе». Отже, «форми», на думку Піранделло, можуть виражати лише малу частину духовного життя людини. Ці «форми» непостійні й відносні, їх легко може поруїнувати вічно мінливий потік життя.

Внутрішній світ людини Піранделло уявляє у вигляді відчуттів, прагнень, ідей, які безкінечно виникають і згасають, перебувають у безперервному русі й боротьбі, відображаючи суперечливе єство будь-якої людської особи і не дозволяючи їй застигнути в раз і назавжди зафіксованій формі. Розвиваючи це положення, Піранделло доходить висновку, що «Я» не одне, їх багато. В людині, стверджує Піранделло, багато протилежних душ, з їх комбінацій і «складається» особа.

Відносно мистецтва Піранделло зауважує: «Художній твір створено вільним рухом внутрішнього життя, який організовує ідеї та образи в гармонійну форму». Він виступає проти будь-якої доктрини і «точки зору», як і проти спроб пояснити світ. В естетиці, як і у філософії, Піранделло віддає перевагу стихійному й несвідомому началу, які, на його думку, більшою мірою визначають поведінку людини, ніж свідомість і логічне мислення.

Свій художній метод, що розкриває ілюзорність наших уявлень про дійсність, Піранделло назвав «гуморизмом». Відкидаючи описовість у зображенні життєвого матеріалу, він протиставляє їй «гумористську рефлексію» – дію, яку проводять його персонажі, прагнучи створити свій замкнутий внутрішній світ, що протистоїть реальному. Тональність похмурої іронії, у якій ведуть оповідь, включає момент співчуття, поєднує трагічне і комічне. Це поєднання трагедії і фарсу відображає «відчуття контрасту», яке Піранделло вважав обов'язковим для «гумористичного» в його розумінні мистецтва.

Філософсько-психологічна проблематика новел Піранделло постає на матеріалі соціального побуту свого часу. Художник відкидав ту реальну дійсність, яка була причиною духовного зубожіння, безвір'я, втрати духовних цінностей, відчуженості. Піранделло – не безпристрасний спостерігач, а викривач і захисник. Гуманістичне співчуття до самотньої людини в Піранделло схоже з болем за «принижених й ображених» Достоєвського. Недаремно в своєму «Гуморизмі» італійський письменник посилається на автора роману «Злочин і покарання», навіть цитує сповідь Мармеладова.

Одним із керівників молодого покоління італійських літераторів початку ХХ століття був флорентійський поет, прозаїк, критик і філософ – Джованні Папіні (1881–1956), знаменитий ще й тим, що створив журнал «Леонардо», у якому публікував численні власні есе та статті своїх однодумців.

Папіні був пропагандистом філософії прагматизму в Італії: «Сутінки філософів»

(1906), «Друга половина» (1912), «Прагматизм» (1913). Проголошуючи єдиною реальністю людське «Я», він ототожнював істинне з практично корисним. У своїх міркуваннях Папіні часто грає парадоксами, бере на себе роль руйнівника старих авторитетів, вбачаючи свою «місію» в тому, щоб заперечувати, спонукати, турбувати і насмілюватися. «...Адже потрібне “ніщо” Мефістофеля, щоб Фауст міг знайти своє “все”. Я беру на себе цей обов'язок...». Ці нігілістичні нотки відносно культури минулого пізніше привели Папіні до футуризму.

Усе найзначніше з обширної творчої спадщини Папіні створив на початку ХХ століття. В області літератури він був засновником нової течії – фрагментаризму, для якого характерними є боротьба із сюжетністю й заперечення інтриги. Матеріал дійсності розпадається під пером письменника на окремі фрагменти, уривки думок й аплікації відчуттів. Свої розповіді він називав «філософськими казками». Це збірки: «Трагічна щоденність» (1906), «Слова і кров» (1912). До збірки «Трагічна щоденність» Папіні написав три передмови, окремо звертаючись «до поетів, до філософів і до людей з ерудицією». У цих передмовах він викладає свої філософсько-естетичні вимоги. Папіні говорить, що його розповіді народилися в безсонні ночі, коли він «уже не спав, але ще й не прокидався, коли легше доходили до затьмареної свідомості архаїчні голоси природи і страшні людські таємниці». Отже, мистецтво, на думку Папіні, – марення духу письменника, віддзеркалення його багатоликого «Я».

У передмові, адресованій філософам, Папіні звертає увагу на буденність, у якій він намагається відкрити таємницю, не бажаючи, подібно до інших авторів, зображати дивні пригоди і незвичайні ситуації. «Я хотів знайти фантастичне в душі самих людей, – пише Папіні, – я вирішив примусити людей мислити й відчувати незвичайно в звичній обстановці». І він продовжує: «Бачити звичайний світ в незвичайному світлі – ось істинна мрія духу». Так він обґрунтовує своє філософсько-естетичне кредо.

Папіні відстоює ідею несвідомої, інтуїтивної творчості й порівнює поета з дитиною. Поет не повинен пояснювати світ, – так вважає поет, – він, як дитина, повинен лише передавати свої відчуття від зіткнення з цим світом. «Для збереження радості у світі, – зауважує Папіні, – необхідно, щоб поети зберігали свою дитячість. Потрібно, щоб вони наново відкривали світ...» Це і є погляд на мистецтво як на ірраціональне начало. І в своїх розповідях Папіні прагне відкрити невидиме і болісно-загадкове, дотримуючись головної вимоги – «побачити весь світ у самому собі».

Фрагментаристи оформилися як самостійна група в літературі між 1912 і 1914 роками. На чолі нової течії став Арденго Соффічі. До руху приєдналися У. Бернасконі, Дж. Бойне, Д. Кампана, А. Онофрі та ін. Фрагментаризм виявив себе головним чином у малих формах прози і в поезії; були зроблені спроби перенести цю манеру і в роман («Леммоніо Борео» А. Соффічі, 1912). В 1920–1930-ті роки фрагментаризм поклав початок новій літературній течії – «артистичній прозі».

Проблемою кардинального оновлення художніх засобів, оголосивши себе глашатаями й творцями майбутнього, зайнялися футуристи. Як зазначають автори підручника «Естетика» (2005), «теоретична програма футуристів абсолютизувала значення форми мистецького твору. Заперечуючи культуру минулого, футуристи

фетишизували техніку, індустрію, швидкість, привнесені технічним розвитком нові ритми. Схиляючись перед рівнем технічних досягнень ХХ ст., вони водночас намагалися довести, що технічний прогрес спричинює духовне зубожіння, що техніка з часом знищить свого творця – людину» [1, с. 370–371].

Італійський футуризм офіційно народився 22 лютого 1909 року, коли у французькій газеті «Фігаро» був опублікований перший маніфест цього руху, що його склав Філіппо Томмазо Марінетті (1876–1942). Цей «Маніфест футуризму» декларує ідеологічну і естетичну платформу нового літературного руху «...Дотепер література вихваляла задумливу бездіяльність і сон... Оспіваймо ж натовпи, захоплені працею або повстанням; оспіваймо цехи і будівництва, освітлені електричними місяцями заводи, підвішені до неба димами своїх труб, мости, що крокують через річки, немов акробати, широкогруді локомотиви, що пожирають простір, запаморочливий політ аеропланів...» – захоплено закликав Марінетті [6, с. 12].

У цьому документі виявилися дві тенденції італійського авангардистського мистецтва початку ХХ століття: з одного боку, реальна потреба включити у сферу художнього зображення нові елементи розвитку суспільства, цивілізації і знайти для цього відповідні образні та мовні засоби, а з другого – антигуманістична агресивна ідеологія, модний політичний націоналістський світогляд, культ насильства й війни. Докладно аналізуючи італійський футуризм, Л. Левчук у роботі «Західноєвропейська естетика ХХ століття» зазначає: «Італійські футуристи не обмежувалися лише художніми пошуками. Ф. Марінетті та його прибічники намагалися впливати на соціально-політичні процеси в Італії, претендували на створення нової філософсько-естетичної концепції. Італійська модель футуризму стане згодом прикладом утвердження антигуманізму, поштовхом для підтримки реакційної ідеології фашизму та режиму Муссоліні» [2, с. 164–165]. Отже, згідно з футуристами, дегуманізація мистецтва підтверджувалася орієнтацією на «механічну людину», на пробудження в людині агресії, боротьби за існування: «Мистецтво може бути тільки гвалтуванням і жорстокістю»; «Нема шедеврів без агресивності» [6, с. 12]. Перед Першою світовою війною італійські футуристи пророкували початок «великої симфонії» – війни, яку вони називали «найкращою гігієною світу».

Найяскравішими представниками італійського футуризму були Лучано Фольгоре (1888–1966), Арденго Соффічі (1879–1964), Альдо Палацескі (1885–1974) й ін. Помітну роль відіграв досвід Джан Пьетро Лучіні, який у своїй поезії кінця 1890-х – початку 1900-х років експериментує у сфері поетичної форми, спираючись на французьких символістів. В есе «Поетичне обґрунтування і програма верлібру» (1908) він утверджує в правах вільний вірш. Лучіні боровся проти риторичної стилістики та проти ідеології Д'Аннунціо; його полемічні статті на цю тему склали цілу збірку «Антид'аннунціана» (1914).

Слід зазначити, що засновник футуристського напрямку Ф. Т. Марінетті теж учився на досвіді французької культури кінця ХІХ століття. Він провів у Франції роки молодості й до 1909 року писав тільки французькою мовою. Його вірші й поеми цього періоду були парафразами парнаських мотивів і стильових прийомів. У 1905 році Марінетті заснує в Мілані журнал «Поезія», де пропагує творчість французьких

поетів і верлібр, закликає до оновлення поетичної мови. Поступово довкола журналу об'єднується гурток однодумців.

Марінетті найперше організатором і пропагандистом у політиці й культурі. За першим Маніфестом було оприлюднено протягом декількох років ще сімнадцять подібних колективних декларацій, зокрема «Маніфест художників-футуристів» (1910), «Маніфест футуристської музики і футуристської скульптури» (1912), «Технічний Маніфест футуристської літератури» (1912), до якого Марінетті наступного року додав «Бездротову уяву» і «Слова на волі», проklamуючи цілу низку кардинальних змін законів мови, вживання правил граматики й синтаксису. Ці зміни, як заявив Марінетті, продиктовані необхідністю адекватного відображення дійсності, динамізму сучасного життя, що змінилося досить помітно. «В епоху аероплана» старий повільний ритм мови, її застигла структура смішні й безсилі. «Необхідно випустити слова на свободу з в'язниці латинського періоду».

Італійський футуризм як літературний напрям проіснував понад тридцять років. Його провідники віддавали багато сил, щоб створити програмні маніфести, проводити виставки, музичні та літературні вечори. Однак у тих випадках, коли пошук нових поетичних форм і ритмів був вільний від різних ідеологічних декларацій, італійський футуризм відіграв позитивну роль у звільненні від штампів, у створенні оригінальної виразності образів і мовних засобів. Італійські футуристи (Ф. Марінетті, Дж. Северіні, І. Боччоні, К. Карра) намагалися організаційно й творчо об'єднати футуристів Європи, Росії, створити «загальноєвропейський фронт» – міжнародне товариство митців із центрами у Флоренції, Парижі, Мюнхені й Москві. Саме ці організаційні зусилля дуже швидко виявили принципові розбіжності в розумінні футуризму представниками різних країн. Через досвід футуризму пройшли багато видатних художників ХХ століття, шляхи яких у подальшому пішли найрізноманітнішими напрямками.

Саме в цей час – на зламі віків – в Італії народжується і бурхливо розвивається кінематограф. До честі італійських режисерів багато їхніх робіт стають взірцем утвердження гуманістичних ідей та світовою класикою, це насамперед роботи Р. Росселіні, Л. Вісконті, В. Де Сікі, Дж. Де Сантіс, Б. Бертолуччі, Л. Ковані, братів Паоло і Вітторіо Тавіані та ін.

Успішний творчий поступ потребував теоретичного обґрунтування. Так, італійський теоретик Р. Канудо публікує «Маніфест семи мистецтв» (1911). Появу цієї роботи якраз і зумовило виникнення нового виду мистецтва – кінематографу. Автор маніфесту переконував: «Ми маємо потребу в кіно, щоб створити тотальне мистецтво, до якого завжди тяжіли б всі інші види мистецтва» [7, с. 23]. Як зауважує сучасна українська дослідниця О. Оніщенко, у «Маніфесті семи мистецтв» простежуємо певний відгомін античних, середньовічних та частково ренесанських теоретичних традицій на рівні осмислення проблеми «мистецтво – наука». Проте якщо провідні мислителі минувшини спочатку ототожнювали їх, а потім намагалися довести принципову неможливість такого ототожнення, Р. Канудо відзначає, що факт виникнення кінематографу зумовлює наявність «золотого перетину» між наукою і мистецтвом, адже кіно – це «казковий новонароджений син Машини і Почуття» [3,

с. 38]. Таким чином, італійський теоретик доходить висновку, що «наш час... синтезував різноманітний людський досвід. Ми підбили підсумки практичного життя й життя почуттів. Ми поєднали Науку з Мистецтвом» [7, с. 24].

Здійснюючи аналіз італійської гуманістичної традиції у становленні такого масового виду мистецтва, яким стало у ХХ століття кіно, можна стверджувати, що Італія в цій царині не одразу сказала своє авторитетне слово. І пояснити це, на нашу думку, можна тим, що впродовж певного періоду цей вид мистецтва мав переважно політично-пропагандивний та комерційно-розважальний характер, але ні фінансовий ажіотаж, ні ідейно-політичний вплив кіно не надихнули італійських митців до форсування кіноолімпі. І лише загальнодемократичні, гуманістичні ідеї антифашистського Спротиву визначили народження нового напрямку в кіно – неореалізму, який з часом вийшов за межі Італії і великою мірою вплинув на кіномистецтво інших країн. У кращих неореалістичних фільмах Р. Росселіні («Рим – відкрите місто», 1945), Л. Вісконті («Земля дрижить», 1946), В. Де Сікі («Викрадачі велосипедів», 1948), Дж. Де Сантіса («Гіркий рис», 1949) та інших з винятковою спостережливістю, правдивістю і співчуттям була зображена боротьба проти фашизму та непохитна людська солідарність в умовах повоєнної руїни. Показово, що коли через низку причин в середині 50-х років настає криза в неореалістичному мистецтві, гуманістичні мотиви в італійському кіно не відійшли на дальній план. Однією з центральних тем у творчості провідних італійських режисерів – Ф. Феліні, М. Антоніоні, П. П. Палоліні, Б. Бертолуччо та інших – стала проблема «некомунікабельності», самотності, розгубленості людини в сучасному індустріальному світі, головну увагу вони приділяють індивідуальним переживанням героїв.

Отож, італійська культура ХІХ–ХХ століть дала світу низку імен, які достойні бути в когорті великих художників слова всіх народів. Футуризм, що виник вперше на італійському ґрунті, здійснив величезний вплив на європейський авангард, але не своєю агресивністю та реакційною ідеологічною платформою, а як художній напрям, який відкривав можливості пошуку нових виразних методів поетичної мови. Батьківщиною неореалізму також стала Італія, він виник на хвилі Спротиву і був упродовж післявоєнного десятиліття європейським художнім явищем першого плану, вплинувши на розвиток та оновлення гуманістичних ідей, а також на прогресивну культуру, мистецтво та літературу більшості країн Європи.

Література:

1. *Естетика*: Підручник /За заг. ред. Л. Т. Левчук. – К., 2005.
2. *Левчук Л.* Західноєвропейська естетика ХХ століття. – К., 1997.
3. *Онїщенко О.* Художня творчість у контексті гуманітарного знання: Монографія. – К., 2001.
4. *Арнаутов М.* Психологія літературного творчства /Пер. с болг. Д. Д. Николаева. – М., 1970.
5. *Піранделло Л.* Избранная проза. – Л., 1983.
6. *Манифесты* итальянского футуризма. – М., 1914.
7. *Канудо Р.* Манифест семи искусств // Немое кино: Из истории французской киномысли (1911–1933). – М., 1988.

УДК 171

Оніщенко О. І.

СТЕФАН ЦВЕЙГ: ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ

Личность и творчество Стефана Цвейга анализируется в контексте психоаналитических идей Зигмунда Фрейда.

Ключевые слова: психоанализ, искусство, художественное творчество, диалог.

Personality and creative work Stefan Zweig are analysed in the context of psychoanalytic ideas of Sigmund Freud.

Key words: psychoanalysis, art, creativeness, dialog.

Актуалізація некласичною естетикою проблеми теоретико-практичного діалогу на теренах мистецтва значно розширює можливості дослідницької роботи щодо вивчення феномена художньої творчості. У свою чергу, це зумовлює необхідність використання потенціалу міжнаукового зв'язку, оскільки паритетне застосування досвіду естетики, етики, психології, мистецтвознавства дозволяє всебічно висвітлити той чи інший аспект зазначеної проблеми.

Виокремлений напрям вивчення художньої творчості вже довів свою теоретичну продуктивність, доставши відповідної наукової апробації. Так, починаючи з другої половини XIX століття і до цього часу, його, зокрема, активно застосовують, аналізуючи специфіку художньої інтерпретації тієї чи іншої філософсько-естетичної ідеї. Проте дослідження діалогу «теоретик (філософ) – практик (митець)», який урешті-решт набув чітко персоніфікованих ознак: О. Конт – Е. Золя, Ф. Ніцше – Р. Вагнер, А. Бергсон – М. Пруст, К. Г. Юнг – Г. Гессе та ін., постійно зумовлює необхідність корегувань та уточнень. Зокрема, це пов'язано з певним підходом, що вже має ознаки формального чи навіть стереотипного характеру. Йдеться про своєрідну схему дослідження, у якій увагу насамперед зосереджують на факті інтересу конкретного митця до теоретичних поглядів конкретного науковця й аналізі досвіду відповідної художньої інтерпретації. Про існування такої ситуації свідчить епістолярна література – щоденники, спогади, автобіографії та ін.

Водночас ми вважаємо за необхідне зробити наголос, що повноцінність і продуктивність дослідження теоретико-практичного діалогу зумовлює принцип «двосторонніх стосунків», коли твори митця, які є художньою модифікацією тієї чи іншої концепції, здобувають відповідної оцінки з боку її автора – вченого-філософа. Проте саме тут і виникають найбільші складності та неузгодженості. Формально ми маємо всі підстави говорити про підвищений інтерес провідних теоретиків XIX–XX століття до феномена творчої особистості (насамперед ідеться про тих митців, хто здобув статус генія), що зумовило навіть ситуацію своєрідного «афористичного дискурсу». Так, Ф. Ніцше проголошує митця «неморальним богом»; А. Бергсон вважає їх (митців) «унікальною категорією людей, здатних проникати в принципи універсальної філософії»; З. Фрейд переконаний, що «в знанні психології поети

залишили далеко позаду... людей прози, бо... вони черпають із таких джерел, які ще не відкрили для науки»; К. Г. Юнг вважає митців «загадковими» й психічно неординарними особистостями, які створюють «психологічні» та «візіонерські» твори. Ми зосередили увагу на цих уже класичних висловах знакових європейських філософів задля наголосу на двох принципових щодо проблеми теоретико-практичного діалогу моментах.

По-перше, наведені висновки свідчать про факт існування зв'язку (діалогу) між митцем і теоретиком – представником гуманітарних наук. Щодо позицій А. Бергсона та З. Фрейда (вони конкретизовані дуже чітко) ідеться про взаємозв'язок митець – філософ та митець – психолог. Щодо висновку К. Г. Юнга – його абстрактність є рефлексією «психіатричних» поглядів ученого на проблему художньої творчості. Думка Ф. Ніцше має найбільш «афористично-епатауючий» вигляд, проте досить легко трансформується в площину академічного дослідження. Варто тільки пригадати одну із засадничих тез німецького філософа, яку він висловив на сторінках роботи «Людське, занадто людське». «Мистецтво піднімає голову, – переконаний Ніцше, – коли занепадає релігія», і розвиває своє міркування в такому положенні: «Воно (мистецтво – О. О.) переймає чимало породжених релігією почуттів і настроїв, зігриває їх у свого серця і стає тепер... більш глибоким, одухотвореним, таким, що здатне передавати натхнений і піднесений настрій, чого воно не могло робити раніше» [1, с. 326]. Водночас сприйняття Ф. Ніцше митця як неморального бога відкриває ще один вимір проблеми теоретико-практичного діалогу, що пов'язаний з питанням «моральних провокацій» у мистецтві, яке зумовлює вихід у сферу етичного, а отже, зумовлює зв'язок «митець – етик».

По-друге, висновки філософів свідчать про їхнє прагнення співвіднести творчість митця з діяльністю науковця – представника конкретної сфери гуманітарного знання. Проте саме тут, на нашу думку, приховується і певне протиріччя, що вимагає окремого коментування. Ідеться про очевидну «абстрактність» позиції дослідників, що не дозволяє чітко персоніфікувати зазначену проблему, адже один митець тяжіє, наприклад, до «морального експериментування», інший – до психологічного, третій – до загального філософування (хоча гіпотетично – всі три аспекти можуть бути задіяні у творчості одного митця).

Водночас слід підкреслити, що деякі науковці усвідомлювали значення стимулюючого потенціалу принципу персоніфікації і для дослідження художньої творчості загалом, і проблеми теоретико-практичного діалогу зокрема. У цьому плані безсумнівно показовою є позиція Ф. Ніцше, висловлена на сторінках дослідження «Казус Вагнер», чи, скажімо, чітко персоніфікований принцип типологізації (розподіл на «невротиків» та «шизофреників»), який запропонував К. Г. Юнг. Проте наведені приклади так само досить важко вважати переконливим доказом існування «другого боку» в теоретико-практичному діалозі, репрезентантом якого виступає вчений, адже творчість митців, імена яких, скажімо, фігурують у контексті відповідних концепцій Ф. Ніцше та К. Г. Юнга, є насамперед приводом чи аргументацією того чи іншого теоретичного положення цих учених. Отже, аналізуючи проблему теоретико-практичного діалогу на теренах мистецтва, досить важко говорити про рівноцінність

цього взаємозв'язку. Тим більш показовими є ті приклади, що дозволяють зафіксувати реальність його існування, а головне – про продуктивність наслідків щодо осмислення цього аспекту проблеми художньої творчості. У цьому плані незаперечну першість має теоретико-практичний діалог З. Фрейд – С. Цвейг, що вже ставав предметом нашого дослідження в статті «З.Фрейд – С. Цвейг: по той бік принципу діалогу» («Мистецтвознавство України», 2006). Проте специфіка взаємозв'язку, що склалася між цими двома особистостями, настільки багатоаспектна і багатопланова, що межі однієї статті виявилися замалими для її висвітлення. Отже, цього разу ми сконцентруємо увагу на проблемі художньої інтерпретації засад психоаналізу З. Фрейда у новелістичній творчості С. Цвейга, що, власне, і дає підстави говорити про створення видатним письменником оригінального психоаналітичного проекту.

Слід зазначити, що специфіка спрямованості орієнтирів С. Цвейга і в його есе, і в біографічних нарисах, і в романах, і, особливо, у новелах була настільки очевидною, що навіть за радянських часів не могла бути проігнорованою, хоча процес корегування й фільтрації відбувався дуже серйозно. Він позначився і на рівні укладання збірок творів письменника (найбільш «шокуючі» з них – біографічний нарис про Ф. М. Достоевського «Смертна мить» та новела «Сум'яття почуттів» після 30-х років не входили до радянських видань та перевидань), і на рівні літературознавчого аналізу. Наприклад, у вступній статті до чотирьохтомного видання творів С. Цвейга (М., «Художня література», 1982 р.) Б. Сучков відзначав, що «Цвейг розширював і заглиблював аналіз психологічних переживань своїх героїв, досягаючи великого естетичного ефекту й збагачуючи засоби *психологічного аналізу в мистецтві* (виділено нами – О. О.)» [2, с. 15]. Висновок дослідника цілком логічний і закономірний, проте вислів «*психологічний аналіз*» дуже легко перетворюється на «*психоаналіз*», що ніяк не відповідало вимогам часу. Звідси – дискусійне положення Б. Сучкова, сформульоване вже в наступному абзаці: «...Цвейг лише незначною мірою був зачеплений теоріями віденського психіатра і ставився до них усе життя вкрай стримано, хоча і з великим інтересом. На відміну від Фрейда митець Цвейг дивився на людину не як на комплекс психофізіологічних процесів, але як на особистість, котра наділена творчими здібностями, як на істоту суспільну» [2, с. 15].

Стаття радянського літературознавця була написана в той період, коли навіть гіпотетично важко було уявити, що рівно через десять років буде видано не тільки листування З. Фрейда й С. Цвейга, яке відкриє можливості для принципово нового рівня дослідницької роботи на терені аналізу цього яскравого теоретико-практичного діалогу, але й есе С. Цвейга «Зігмунд Фрейд», де письменник чітко висловлює своє ставлення до теорії віденського вченого: «Він (Фрейд – О. О.) уперше розвинув з майже художньою силою драматичні елементи, що закладені в людині, – цю гарячкову гру миготіння в сутінковому світі позасвідомого, де незначний поштовх відгукується найвіддаленішими наслідками та в найбільш дивних сполученнях перетинаються минуле і сучасне – насправді цілий світ у тісному коловороті людського тіла, неоглядний у своїй цілості і все ж привабливий як видовище в незбагненній своїй закономірності» [7, с. 88].

У зв'язку з проблемою, що є предметом нашого дослідження, – психоаналітична спрямованість творчості С. Цвейга – особливий інтерес становлять два листи З. Фрейда, які засвідчують факт безпосереднього визнання вченим продуктивності художньої (літературної) інтерпретації його теорії: «Мене ледь не охопило почуття жалю, що я особисто знайомий з д-ром Ст. Цвейгом і що він неодмінно виявляє до мене велику люб'язність і шанобливість. Адже тепер я страждаю від сумнівів, чи не є помилковим моє судження внаслідок особистої симпатії. Якби до мене потрапив такий томик новел незнайомого автора, я би, звичайно, без коливань визначив, що наразився на творця першої руки і художній шедевр» [3, с. 478]. Зокрема З. Фрейд виокремлює три новели письменника, які, на його думку, «передбачають аналітичне тлумачення», але далі робить досить несподіваний висновок: «...більше того, вимагають такого, ...оскільки я, спілкуючись з вами, міг переконатися, що ви нічого не знаєте про цей таємний зміст (виділено нами – О. О.), а ви взяли і виразили його в бездоганному вигляді» [3, с. 478].

Позиція З. Фрейда видається надзвичайно цікавою і потребує більш розгорнутого коментування. З одного боку, її можна інтерпретувати як своєрідну конкретизацію вже згадуваної позиції психоаналітика щодо пріоритету митця порівняно з психологами, з другого, – у вислові З. Фрейда простежуємо дещо зневажливе ставлення до «неосвіченості» С. Цвейга. Це спостереження не можна сприймати інакше ніж упереджене, адже у своєму попередньому листуванні вони «жваво» обговорюють особливості мазохістського комплексу та «істерико-епілептичних» приступів Ф. М. Достоєвського, і хоча З. Фрейд з багатьох позицій активно дискутує зі С. Цвейгом, це, тим не менше, полеміка між рівними, а не настанова вчителя недбалому учню. Проте «діалогічна неоднозначність» між психіатром і письменником потребує врахування ще одного показового моменту, який переконує нас в існуванні певної симптоматики упередженості З. Фрейда щодо специфіки інтерпретації психоаналітичної теорії, яку здійснив С. Цвейгом.

Шість років поспіль згадуваного листування – у 1931 році – виходить друком есе С. Цвейга «Зігмунд Фрейд», на сторінках якого видатний практик мистецтва не тільки здійснює фундаментальне дослідження психоаналізу, виокремлюючи такі його аспекти й можливості, які представники науки через своє існування в іншому вимірі навряд чи могли б побачити, але й фактично визнає месіанську роль З. Фрейда в культурному просторі ХХ століття. Водночас через деякі причини (ми висвітлили свої міркування щодо цього в уже згадуваній статті «З. Фрейд – С. Цвейг: по той бік принципу діалогу») фундатор психоаналізу досить критично ставиться до нього, продовжуючи «практику критики» неосвіченості письменника: «Я, імовірно, не помиляюся, припускаючи, що вам був незнайомий зміст психоаналітичного вчення до друку книги. Тим більшого визнання заслуговує, що ви так багато з того часу засвоїли (це дещо не зрозуміла думка З. Фрейда, зважаючи на те, що листа було написано «гарячими слідами», а отже, часу на «засвоєння» фактично не існувало – О. О.). *І все ж ризикну покритикувати вас. Ви майже не згадуєте техніку вільних асоціацій, яка багатьом видається найбільш значною новинкою психоаналізу і є методичним ключем до результатів аналізу* (виділено нами – О. О.), і примушуєте мене знаходити

розуміння снів у дитячій травмі, що історично неправильно, а зображене так лише через дидактичні прагнення» [3, с. 491]. Видається показовим, що С. Цвейг особисто ніколи не намагався спростувати закиди З. Фрейда, подискутувати з ним щодо того чи іншого положення, залишаючись, як людина, «гіпертрофованим» апологетом ученого. Натомість як письменник і есеїстичною, і новелістичною творчістю він переконливо засвідчив свою глибоку обізнаність із засадами психоаналізу, і право говорити про створення літературного психоаналітичного проекту С. Цвейга.

Зокрема, на сторінках есе «Зігмунд Фрейд» письменник здійснює, принаймні, два виходи в площину проблеми вільних асоціацій. Так, апелюючи до досвіду гіпнотичних експериментів, що, фактично, є потужним каталізатором цього процесу, він відзначає: «...у гіпнотичному стані, коли почуття сорому ніби паралізоване, дівчина вільно зізнається в тому, що вона так уперто замовчувала до цього часу перед лікарем і що приховувала насамперед перед самою собою» [7, с. 30]. Водночас на сторінках есе виникає ще одна похідна щодо явища вільних асоціацій проблема, яка здобуває в психоаналізі визначення психопатології буденного життя. С. Цвейг не просто фіксує її, але відзначає потужність фрейдівського понятійного апарату: «Під помилковими діями (для кожного нового поняття Фрейд незмінно знаходить особливо влучне слово)... психологія розуміє сукупність усіх тих своєрідних явищ, якими... мова, найвеличніша і давніша представниця психологічного досвіду, давно вже об'єднала в одну цілісну групу і визначила однаковим початковим складом “о”, а саме: *о-говориться, о-писаться, о-ступиться, о-слышатся* (оскільки український переклад цих слів не є адекватним, ми подаємо їх російською мовою – О. О.)» [7, с. 39]. Проте ті інваріації вільних асоціацій, що С. Цвейг розглядає у своєму есеїстичному дослідженні, сприймаємо швидше як певну констатацію, засвідчуючи передусім факт обізнаності письменника із цим методом психоаналітичної теорії. Натомість на особливу увагу заслуговує досвід застосування вільних асоціацій у новелах С. Цвейга.

Вважаємо надзвичайно показовим, що зазначений метод, який близький до форми сповіді, чітко визначає принцип формотворення декількох новел письменника, зокрема таких, як «Двадцять чотири години з життя жінки» та «Амок». Ми свідомо вибрали ці твори, бо в листуванні З. Фрейда – С. Цвейга психіатр, серед інших, згадує саме їх. Водночас коментар психоаналітика є дещо несподіваним, а отже, вимагає більш детального осмислення. Так, особливу увагу З. Фрейд зосереджує на аналізі новели «Двадцять чотири години з життя жінки» (хоча безпосередньо на сторінках листування назву твору не зафіксовано, чітко зрозуміло, що йдеться саме про нього), виокремлюючи декілька принципових моментів.

По-перше, предметом уваги З. Фрейда стає дослідження, а зрештою – психоаналіз, так би мовити, феномена абстрактного митця. Це «дозволяє нам зробити припущення, що велике... багатство проблем і ситуацій, які порушує письменник, можна звести до обмеженої кількості “*прамотивів*” (виділено нами – О. О.), що переважно походять із... пережитого матеріалу душевного життя митця, так що ці тлумачення відповідають... сублімованим новим виданням тих дитячих фантазій» [3, с. 478]. З. Фрейд намагається інтерпретувати сюжет новели, зробивши наголос на

мотиві сексуального віддання матері сину: «У роки зрілості люди досить часто пригадують подібні фантазії», – продовжує міркування психоаналітик. Учений розвиває свої спостереження, надаючи сексуальні характеристики й іншим аспектам новели, зокрема психологічній характеристиці рук гравців, що її блискуче здійснив С. Цвейг. Отже, напрям думок Фрейда дозволяє йому зробити припущення про витіснені бажання самого письменника: «У вашій новелі такий явний натяк на роль сина юного гравця, що стає важко повірити, ніби ви не наслідували своєму усвідомленому прагненню». Проте вже в наступному реченні психіатр фактично спростовує всі свої попередні спостереження: «Але я знаю, що це було не так і що ви примушували працювати своє позасвідоме» [3, с. 479].

По-друге, подальші міркування З. Фрейда пов'язані з ототожненням коханця героїні новели з її сином і з чітким, на думку психіатра, наголосом на тому, «що вона, як мати, має фіксацію лібідо на сині». Учений вбачає в сюжеті твору яскраву демонстрацію розвитку цього процесу, і саме «в це незахищене місце доля наносить їй (жінці – О. О.) удар» [3, с. 479]. Згодом відповідне тлумачення З. Фрейдом «Двадцяти чотирьох годин з життя жінки» стимулювало дослідників вважати цю новелу своєрідним зразком художньої інтерпретації едіпова комплексу. Проте, на нашу думку, така позиція є помилковою, оскільки загальновідомо, що фрейдівська ідея ґрунтується на сексуальному потязі сина до матері, а не навпаки, як це показано в новелі. Натомість можливо говорити про інші психоаналітичні відсилання, що цілком імовірні, враховуючи «тотальний» інтерес С. Цвейга до теорії З. Фрейда. Зокрема у своїй 23-й лекції – «Шляхи утворення неврозів» – учений говорить про існування *прафантазій*, що є філогенетичним надбанням. Можна припустити, що ця ідея певною мірою кореспондується з ідеєю *прамотивів*, про яку Фрейд говорить у згаданому листі до Цвейга, хоча, зрозуміло, рівень її опрацювання значно серйозніший. Психіатр уважає, що *прафантазії* зумовлюють вихід індивіда «за межі власного переживання у переживання доісторичного часу», і робить такий висновок: «Мені здається цілком можливим, що все, що сьогодні розповідають під час аналізу як фантазію, – спокушання дітей... – було реальністю в первісній людській родині...» [4, с. 237].

Отже, новела «Двадцять чотири години з життя жінки» стає предметом досить серйозного психоаналітичного розбору з боку З. Фрейда, що, відповідно, дає підстави говорити про не менш серйозний психоаналітичний експеримент з боку С. Цвейга. Тим більш дивно здається те, що віденський професор відверто ігнорує той факт, як блискуче застосував письменник метод вільних асоціацій у цій новелі, що фактично і уможливили всі попередні тлумачення та дешифрування. Героїня твору обирає для себе співрозмовника, який фактично стає її психоаналітиком, і в такий спосіб розпочинається своєрідний сеанс психоаналізу: «Я обіцяла, що буду говорити цілком відверто. ...я бачу, як необхідна... ця обіцянка. ...я хочу твердо і рішуче сказати правду і собі і вам...» [8, с. 310].

Аналогічний прийом використання методу вільних асоціацій С. Цвейг застосовує і в новелі «Амок». З. Фрейд висловлює своє захоплення збіркою творів письменника, що має таку саме назву, а отже, згаданий твір входить до його змісту, проте з боку

вченого це тільки абстрактні компліменти. Водночас новела С. Цвейга, на нашу думку, є потужною складовою психоаналітичного проекту митця, що потребує зосередження, принаймні, на двох її чинниках. По-перше, як вже відзначалося, це метод вільних асоціацій, що порівняно з «Двадцятьма чотирма годинами з життя жінки» набуває більш «загостреної» форми. У цьому разі в ролі психоаналітика опиняється абсолютно випадкова особа, адже психологічне збудження героя твору настільки високе, що він має потребу «сповідуватися» першій-ліпшій людині. По-друге (і це нам здається найпоказовішим), у новелі «Амок» С. Цвейг пропонує авторську модель інтерпретації садомазохістського комплексу.

Необхідно відзначити, що проблема садомазохізму постає в листуванні З. Фрейда – С. Цвейга і конкретизується дуже чітко. Йдеться про персоналію Ф. М. Достоевського, котрий, як відомо, ставав об'єктом психоаналітичного дослідження і з боку вченого, і з боку письменника. Зокрема З. Фрейд робить наголос на дитячих спогадах Достоевського щодо стосунків з батьком, які носили чітко виявлений садомазохістський характер, а згодом трансформувалися в його творчість і, передусім, у «найбільш особистий» роман письменника – «Брати Карамазови». Слід підкреслити, що в подальшому ця проблема приверне увагу Ж. Дельоза, який вважав, що для самого З. Фрейда питання садомазохістського комплексу було досить актуальним і переважно поставало у двох вимірах – у зв'язку «з подвійністю сексуальних потягів і потягів Я» та «подвійністю потягів життя і смерті». Щодо першого (а саме він визначає зміст новели «Амок») слід зробити певне уточнення. Віденський психіатр переважно фокусує «подвійність сексуальних потягів» на «дитячій проблематиці», натомість С. Цвейг переводить її в площину стосунків чоловіка і жінки. У новелі «Амок» письменник виступає як «miteць-дослідник», у своєрідний спосіб випереджаючи теоретичні розвідки Ж. Дельоза, зокрема працю «Уявлення Захер-Мазоха (холодне і жорстоке)». Проте садомазохістські стосунки, що складаються між героями твору С. Цвейга, мають «ускладнений характер», оскільки пов'язані з чинниками моральної самосвідомості – честю, гідністю, розкаянням: «Я знав, що вона ненавидить мене, тому що має потребу в мені, а я її ненавидів тому..., що вона не хотіла просити», і далі – «...я зрозумів... тільки за свою тайну, за свою честь боролася вона... не за життя» [9, с. 224]. Уже після смерті героїні письменник доводить свою оповідь до трагічного апогею: «Я... знаю, чого вона від мене хоче... я знаю, на мені ще лежить борг... ще не кінець... її таємниця ще не похована... Покійна поки не відпустила мене» [9, с. 234].

І ще одна новела, яку безпосередньо коментує З. Фрейд і разом з «Двадцятьма чотирма годинами з життя жінки» оцінює як шедевр, – «Кінець одного серця»: «Аналітичний мотив не потребує тлумачення: все лежить на поверхні. Ревнощі батька до сексуальності доньки, яка дорослішає... Але цей мотив стимулює нас мимовільно зайняти ворожу позицію. Ми вважаємо, що претензія батька запізнила, він дійсно не супротивник юнакам, він дійсно виконав своє завдання і став зайвим, коли матеріально забезпечив жінок. Тому ми маємо право прохолодно ставитися до його долі» [3, с. 479]. Наведений висновок переконливо засвідчує гіпертрофований сексуальний суб'єктивізм поглядів З. Фрейда, який заважає об'єктивно сприймати цю

новелу С. Цвейга, зокрема відверто ігнорувати її глибинний моральний підтекст, що, так само, як і в «Амоку», і загалом у всіх творах письменника, є визначальним. У зв'язку з цим показовими є спостереження К. Г. Юнга: «Найбільш мене насторожувало ставлення Фрейда до духовних проблем. Там, де знаходила своє вираження духовність – чи то людина, чи твір мистецтва, – Фрейд бачив подавлену сексуальність. А для того, що не можна було пояснити власне сексуальністю, він вигадував терміни „психосексуальність» [9, с. 152].

Водночас не можна не відзначити, що «сексуальний присмак» безпосередньо чи опосередковано пронизує більшість новел С. Цвейга, виконуючи функцію своєрідного сюжетного каталізатора. Це виявляється навіть у «дитячому циклі» письменника, який він репрезентував у збірці «Перші переживання». До нього, зокрема, було включено новели «У сутінках», «Гувернантка», але чи не найбільш показовою є «Пекуча таємниця». Цей твір відкриває можливості для різних тлумачень на терені дитячої сексуальності. Зокрема, його перша частина, у якій акцент зроблено на «провокативних» стосунках хлопчика й дорослого чоловіка, котрий закоханий у його матір, можна інтерпретувати через фрейдівську концепцію вибору дитиною об'єкту любові, адже, на думку психіатра, у цей період різниця статі не відіграє вирішальної ролі [див. 5, с. 373].

Але найбільш показовим, на нашу думку, є напрям інтерпретації едіпова комплексу, що його запропонував С. Цвейг. Події, які розгортаються в новелі, є настільки психологічно насиченими, що відсилання до цього аспекту теорії З. Фрейда простежуємо не одразу. Проте врешті-решт стає зрозумілим, що важливою складовою твору є блискуче осмислення письменником «латентної форми» едіпова комплексу, що, власне, і зумовлює «пекучу таємницю» головного героя.

Як відомо, важливе місце у контексті теоретичних поглядів З. Фрейда посідає проблема Страху, що була ґрунтовно опрацьована у відповідній роботі вченого, а також дістала широкого оприлюднення в його публічних лекціях. Отже, цілком закономірно, що феномен страху, який став об'єктом психоаналітичної інтерпретації, привернув увагу і С. Цвейга, зумовивши появу твору з такою назвою. Аналізуючи проблему страху, З. Фрейд відзначав, що він ніби концентрує в собі різні аспекти таємного життя людини, маючи відповідні психологічні рецидиви у реальності, і здійснив своєрідну структуризацію цього явища, виокремивши два різновиди: *страх реальний* і *страх невротичний*. Щодо першого психіатр виокремлює готовність до небезпеки як певну першооснову, що згодом трансформується в готовність до *страху як до дії*.

Другий варіант страху З. Фрейд характеризує як *страх очікування, невроз страху*, вважаючи, що «схильність до такого очікування нещастя як риса характеру наявна в багатьох людей, котрих не можна назвати хворими, їх вважають занадто боязкими чи песимістичними» [4, с. 254]. Проте найважливішим, на нашу думку, є висновок вченого, що обидві форми страху, які є «незалежними одна від одної», у реальності «зустрічаються разом тільки як виняток і ніби випадково». Натомість у новелі С. Цвейга феномен страху осмислено цілісно: письменник відтворює динаміку переходу його головної героїні Ірен від *страху реального* до *страху невротичного*,

що зумовлене сюжетною логікою твору. Більше того, наприкінці новели письменник демонструє кінцевий варіант невротичного страху – його трансформацію у форму фобій Ірен, що зрештою завершується *істерією страху*. Отже, ця новела С. Цвейга є показовим прикладом цілісної літературної інтерпретації психоаналітичної моделі страху. Проте письменник у своєму творі застосовує ще один прийом, що дає підстави говорити про використання ним й інших чинників психоаналізу, які, маючи цілком самостійне значення, не менш чітко кореспондуються з усім спектром психоаналітичної проблематики.

Явище страху, що стає в новелі С. Цвейга предметом всебічного осмислення, спровоковане ситуацією адюльтеру, яку письменник «символізує» в оригінальний спосіб: у героїні твору шантажистка відбирає знак її шлюбу – обручку, що зрештою і стає піком істерії страху Ірен. У зв'язку з цим вважаємо за доцільне звернутися до спостереження З. Фрейда, яке було висловлене на сторінках роботи «Психопатологія буденного життя»: «Про відому актрису Елеоноре Дузе один мій друг, котрий навчився уважно приглядатися до знаків, розповідає, що в одній із своїх ролей вона здійснює симптоматичну дію, що чітко показує, з яких глибоких джерел іде її гра. Це драма – про подружню невірність; героїня щойно мала розмову з чоловіком і стоїть тепер з боку... очікуючи на спокусника. У цей короткий проміжок часу вона грає обручкою на пальці, знімає її, надіває... і знову знімає. Тепер вона визріла вже для іншого» [5, с. 280]. У новелі С. Цвейга ситуація з обручкою розгортається в іншому вимірі і має цілком протилежний кінцевий результат, перетворюючись зрештою на подружнє примирення – своєрідний «шлюбний катарсис». Проте фіксація уваги письменника на цьому специфічному щодо сюжетної колізії предметі дозволяє говорити про спробу «загострити» відчуття страху, яке є лейтмотивом твору, шляхом концентрації уваги на діях, що належать до сфери психопатології буденного життя.

Аналізуючи коло «психоаналітичних інтересів» С. Цвейга, стає очевидним його прагнення охопити якомога більший спектр відповідної проблематики, зокрема письменник не оминає ту сферу позасвідомого, що пов'язана з гумором. Саме цей різновид комічного З. Фрейд безпосередньо відносить до художньої творчості. У роботі «Гумор та його ставлення до позасвідомого» психіатр ґрунтовно аналізує це явище, проте ми виокремимо лише одне положення його концепції, що пов'язане з можливістю реалізації гумору за рахунок «жахливого» й «відразливого». З. Фрейд на разі виділяє такий його різновид, як «похмурий гумор» чи «гумор крізь сльози», що «віднімає в афекту частину його енергії і надає йому за це гумористичного відтінку» [6, с. 230]. Саме такий варіант гумору простежуємо в новелі С. Цвейга «Мендель-букініст».

Слід наголосити, що трагічне начало виявляється фактично у всіх творах письменника, проте в цій новелі воно видається нам найбільш загостреним, можливо, через своєрідний «особистісний» присмак. Принаймні, на нашу думку, друга частина новели, події якої розгортаються в період Першої світової війни й просякнуті тотальним відчуттям туги, безвиході, приреченості, згодом віддзеркаляться на сторінках «Декларації» С. Цвейга, створивши блискучий образ «блідих вершників Апокаліпсису», які пролетіли і через життя письменника, і мільйонів його сучасників.

Проте на тлі трагічної оповіді про долю букініста Якоба Менделя різким дисонансом сприймається її фінал, що дає підстави віднести цей твір до категорії « гумору крізь сльози». Йдеться про книгу, яку перед смертю востаннє розшукує Мендель-букініст: «...з яким бажанням вічно грайлива, часто насмішувата доля не без злості додає до життєвих драм комічний елемент. То був другий том “Бібліотеки німецької еротичної і цікавої літератури”» [8, с. 407]. Гумористичний парадокс цієї ситуації підсилюється ще й тим, що зазначена книга, як своєрідний заповіт Я. Менделя, опиняється в руках його останнього друга – майже неписьменної прибиральниці, високо моральної богослужняної жінки.

У своєму есе «Зігмунд Фрейд» С. Цвейг відзначав: «Немає у Європі в будь-якій галузі мистецтва, природознавства чи філософії жодної людини з іменем, на погляди якої прямо чи опосередковано творчо впливало коло його (З. Фрейда – О. О.) думок» [7, с. 89]. Цю думку видатний письменник переконливо підтвердив власним доробком, створивши свій особистий психоаналітичний проект.

Література:

1. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое: Пер. С. Франка // Ницше Ф. Сочинения: В 3 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 1. – С. 231–490.
2. Сучков Б. Стефан Цвейг: Вступительная статья // Цвейг С. Собрание сочинений: В 4 т.: Пер. с нем. – М.: Художественная литература, . – Т. 1. – С. 5–42.
3. Фрейд З. Зигмунд Фрейд – Стефан Цвейг. Из переписки: Пер. А. Репко // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М.: Изд. группа «Прогресс» «Литера», 1992. – С. 467–518.
4. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции: Пер. с нем. Г. Барышниковой. – М.: Наука, 1989. – 456 с.
5. Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений – М.: Просвещение, 1989. – 448 с.
6. Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // «Я» и «Оно»: В 2 т. – Тбилиси: Мерани, 1991. – Т. 1. – 398 с.
7. Цвейг С. Зигмунд Фрейд: Пер. В. Зоргенфрея // Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М.: Изд. группа «Прогресс» «Литера», 1992. – С. 5–90.
8. Цвейг С. Новеллы // Цвейг С. Собрание сочинений: В 4 т.: Пер. с нем. – М.: Художественная литература, . – Т. 1. – С. 45–493.
9. Юнг К. Г. Зигмунд Фрейд // Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. – Мн.: ООО «Харвест», 2003. – С. 149–170.

УДК 13.130

Копилов В. О.

КОГНІТИВНІ МЕТАМОРФОЗИ ВЛАДИ

В статье рассматривается теория власти Э. Тоффлера, основной акцент сделан на анализе процесса трансформации власти от индустриального к информационному обществу, исследуется реальное место и роль знания в системе власти.

Ключевые слова: власть, знание, технократия, социальная интеграция, демократия.

E. Tofler authority theory is considered, the basic accent is made on the analysis of process of transformation of authority from industrial to information society, the real place and a role of knowledge in system of authority is investigated.

Key word: authority, knowledge, technocracy, social integration, democracy.

Професіонал, який побачив словосполучення «метаморфози влади», відразу ж згадав про Елвіна Тоффлера, а точніше, про його книгу «Метаморфози влади. Знання, багатство й сила на порозі ХХІ століття». (Хоча, якщо продовжити розмову про професіоналізм, ніхто з нас, хто володіє англійською мовою навіть у межах університетського курсу, не перекладе термін «shift» як «метаморфози», а саме «Power Shift» названо книгу в оригінальному виданні. Зрозуміло, що сам Е. Тоффлер мав на увазі швидше «зрушення», «зміни» у владі. Але російськомовному редактору, мабуть, є ближчим і зрозумілішим ненаше слово «метаморфози». Ну, та не в цьому суть.) Отже, асоціація з Е. Тоффлером є абсолютно правильною, оскільки пропонувану статтю присвячено соціальній теорії цього знаменитого американського філософа й футуролога. А конкретним її завданням є спроба проаналізувати генезу поглядів Е. Тоффлера на проблему влади. Актуальність такого дослідження зумовлена низкою причин: по-перше, сучасна американська філософія стала рідкісним гостем в аналітичних працях вітчизняних представників соціальної філософії; по-друге, ідеї Е. Тоффлера про природу й особливо про перспективи влади значно, на наш погляд, збагачують загальну теорію влади; по-третє, і ми живемо не на далекому «острові Бенсалем», а всього за декілька кроків від того інформаційного суспільства, про яке пише Е. Тоффлер, тобто його ідеї є цінними для нас як певне керівництво до дії, до розуміння соціальних перспектив та організації ефективнішого руху в загальнолюдському напрямі.

Можна з упевненістю стверджувати, що проблема влади завжди привертала увагу Е. Тоффлера, тією чи іншою мірою дослідник аналізує її практично в усіх своїх роботах. Проте, мабуть, тільки в «Третій хвилі», яка побачила світ 1980 року, ця ідея набуває остаточної технократичної форми та змісту й посідає центральне місце. А точніше, це вже є не класична модель технократії в розумінні її основоположників, наприклад, Торстейна Веблена; на наш погляд, Е. Тоффлер створює свою модель влади вже в концептуальному полі неотехнократії й навіть за його межами [про наше розуміння різниці між поняттями «технократія» та «неотехнократія» див., наприклад,

1, с. 23-37]. Хоча традиційно Е. Тоффлер, як і його однодумці, використовує термін «технократія».

Формування технократії, за Е. Тоффлером, відбувається ще на «другій» хвилі, і причому саме тоді, в індустріальну епоху, вона мала, на його думку, найбільшу владу. Індустріальне суспільство видається Е. Тоффлеру машиною, розподіленою на безліч самостійних механізмів, які, у свою чергу, також розподілені на чіткі певні частини – заводи, фабрики, установи, лікарні, в'язниці тощо. Цей розподіл поширюється на все – на виробництво, на політику, на соціальну сферу і навіть на родину. Таким чином, суспільство набуває неприродного стану дезінтегрованості. Технократам же якраз і належить роль «інтеграторів» цього роз'єданого світу заради забезпечення його нормального функціонування. «Називаючись посадовцями або адміністраторами, – говорить Е. Тоффлер, – комісарами, координаторами, президентами, віцепрезидентами, бюрократами або менеджерами, вони виникли в кожній фірмі, у кожному правлінні й на будь-якій сходинці суспільства. Вони встановлювали зв'язки між виробництвом, розподіленням, транспортом і засобами комунікації. Вони визначали правила, за якими взаємодіяли організації. Словом, вони прилагоджували частини суспільства, щоб ті пасували одна до одної. Саме вони забезпечували розвиток формації Другої хвилі» [2, с. 118]. Слід спеціально відзначити, що ідеї соціальної інтеграції й соціальної дезінтеграції, пов'язані з ідеями відповідно соціального порядку й соціального хаосу, є, на наш погляд, засадничим методологічним підґрунтям усієї соціальної теорії Е. Тоффлера.

Саме ця роль інтеграторів промислової системи й соціуму загалом забезпечила технократам домінантне місце в суспільстві. У ранній період розвитку індустріалізму власники підприємств особисто здійснювали інтеграційні функції, що, на думку Е. Тоффлера, і «збило з пантелику» К. Маркса, який вирішив, що саме контроль над засобами виробництва, який здійснює власник, є джерелом влади. Але К. Маркс помилявся. Головним був контроль над «засобами інтеграції», а через укрупнення й розширення виробництва цей контроль перейшов до фахівців – експертів, інженерів, менеджерів, управителів тощо, тобто до тих, хто «стояв між підприємцем і робітником», до «людей знання», технократів [там же, с. 117–119]. У процесі подальшого розвитку індустріальної системи їхня роль постійно зростала і, зрештою, саме в технократів у руках опинилася реальна влада над промисловими корпораціями, фірмами тощо. «Зовсім не власність на „засоби виробництва” забезпечила їм владу, – пише Е. Тоффлер. – Причина полягала в контролі над „засобами інтеграції”» [там же, с. 119]. Ці засоби інтеграції: управління, менеджмент, координація виробництва, контроль над фінансовими потоками й т. д. – вимагали глибоких спеціальних знань, яких не мали звичайні акціонери. Тому влада й вислизнула з рук останніх, особливо в умовах, коли акції виявилися розосередженими в тисяч людей. Керувати компаніями стали менеджери та технічний персонал, а не їхні формально-юридичні власники. На думку Е. Тоффлера, аналогічні процеси мали місце й у соціалістичних країнах, де до реального контролю над виробництвом так само прийшли бюрократи [там же, с. 119–121], що було достатньо цікаво досліджено, наприклад, у знаменитій роботі М. Восленського [3].

Кажучи про контроль технократів над корпораціями, Е. Тоффлер загалом дотримується ідей Дж. Гелбрейта, який стверджував, що «влада перейшла до тих, хто володіє відносними знаннями, до певної колективної одиниці, яку я назвав „техноструктурою”» [4, с. 14]. Проте Е. Тоффлер іде далі й висловлює думку про те, що технократи вже в індустріальну епоху через бюрократичний апарат почали здійснювати владу не тільки над корпораціями й процесами матеріального виробництва, але й над всім суспільством і державою. «Великий уряд», що ґрунтується на величезному адміністративно-бюрократичному апараті, який постійно зростає, на думку Е. Тоффлера, – необхідна частина суспільства «другої хвилі». Воно виступає в ролі головного інтегратора діяльності всіх частин суспільного механізму, і його робота вкрай необхідна для всіх соціальних прошарків і груп [2, с. 122–123].

Розширення предметного поля дослідження до політичної сфери примушує Е. Тоффлера перейти до аналізу механізму функціонування всієї політичної системи в нових, технократичних умовах, до аналізу демократичного режиму. І тут він доходить, на наш погляд, досить оригінального висновку, що повна й реальна демократія в умовах розвиненого індустріалізму не є можливою. І цей висновок набуває в Е. Тоффлера особливого методологічного значення, через нього він досліджує соціальні проблеми сьогодення й перспективи майбутнього. Цей висновок відрізняє його від багатьох однодумців й опонентів. Для доказу тези індустріального антидемократизму він розглядає систему державної влади в індустріальних державах і доходить висновку, що вся вона подібна до механізму або машини, якою керують технократи [там же, с. 129–132]. Так улаштована не тільки виконавча, але й законодавча влада, яка створює видимість демократії. Система її формування нагадує машину з «переривчастою дією», на зразок заводського преса. Цю «офіційну машину» вмикають тільки в момент виборів, коли громадяни можуть висловити свою думку щодо тих або інших осіб та їхньої політики, і після цього відразу ж вимикають.

Разом із тим, на законодавчу владу постійно безперервно тиснуть різні організації, впливові групи й окремі люди, що «снують у коридорах влади». «Натовпи лобістів від корпорацій та урядових органів беруть наступом комітети, підсовують списки на отримання високих нагород, присутні на прийомах і банкетах із цього приводу, виголошують тости, піднімаючи келихи з коктейлями у Вашингтоні або чарки горілки в Москві, служать передавачами інформації і таким чином цілодобово впливають на процес прийняття рішень» [там же, с. 141]. Усе це і є представники технократичних еліт, і разом вони утворюють «могутню машину безперервної дії, що працює пліч-о-пліч (і часто неузгоджено) з демократичним механізмом, який умикається періодично» [там же, с. 142]. Демократія в результаті виявляється просто ширмою для цієї машини технократичної влади. «Еліти грають в представництво, – помічає Е. Тоффлер, – а народ у кращому разі час від часу має можливість висловити шляхом голосування свою думку, схвалюючи уряд і його дії чи ж виголошуючи своє незадоволення. Технократи, навпаки, безперервно впливають на діяльність уряду» [там же, с. 143].

Аналогічним чином підкорено волю технократів і систему «народного представництва», оскільки вибір представників від громадськості завжди відбувається

таким чином, що в їх ролі опиняються вмілі посередники-технократи. Це яскраво видно, на думку Е. Тоффлера, на прикладі профспілкових лідерів як у капіталістичних, так і в соціалістичних країнах. Усе це дозволяє йому підсумувати, що «представницька форма правління, яку нас навчили називати демократією, була індустріальною технологією для підтримки нерівності» і для забезпечення влади технократів на користь функціонування всієї системи. Уся система державної влади в індустріальній державі в кінцевому підсумку – не більше ніж «машина для вироблення колективних інтеграційних рішень», і керують цією машиною не власне громадяни, а ті, «хто стоїть у її важелів», тобто технократи, «менеджерські еліти», завдання яких – інтегрувати систему в єдине ціле. Фактично на користь цих еліт було й формування національних держав, і створення колоніальних імперій, бо все це розширювало ринки збуту й удосконалювало систему, сприяло її більшій ефективності та інтегрованості [там же, с. 149–170].

На наш погляд, критику Е. Тоффлером індустріальної системи демократії слід визнати достатньо обґрунтованою й логічною. Проаналізовані ним недоліки в організації системи народного представництва, бюрократизації традиційних інститутів влади, скорочення реальних важелів впливу громадян на прийняття рішень згодом стали хрестоматійними напрямками критики ліберальної моделі демократії. Слід зазначити, що згодом в «Метаморфозах влади» він спеціально й достатньо глибоко аналізує це питання. Проте не можна не відзначити, що ця критика є досить стриманою та обережною. Критикуючи перегини організації влади на принципах технократії, вчений ретельно прагне показати некритикованість, ідеальність технократичних засад суспільства – постійне дотримання елітами ідей інтеграції суспільства, дотримання та збереження пріоритету спільних інтересів.

Тому, як вважає Е. Тоффлер, для суспільства «третьої хвилі» класична технократична система організації влади з її атрибутивним індустріальним антидемократизмом, з одного боку, і понадбюрократизмом, з другого, є неприйнятною. Технологічна й інформаційна революція, зміна характеру виробництва, кардинальні зміни в класовій структурі суспільства, пов'язані з різким зростанням «білокомірцевих» працівників і стрімким перетворенням пролетаріату в «когнітаріат», зміна характеру родини, криза традиційної ідеології – усе це розмиває підґрунтя старої політичної системи, приводячи її в стан кризи. Стара «машина влади» вже не може ефективно керувати новим складним дезінтегрованим і насиченим інформацією світом і перетворюється на «політичний мавзолей» з його безглуздими в нових умовах партіями, міністерствами й технікою керування.

Для подолання кризи Е. Тоффлер пропонує перш за все подальшу демократизацію всієї системи влади, уведення елементів прямої демократії через використання нових комунікаційних засобів, відмову від практики орієнтації на передбачувану більшість і наголошення на інтересах меншин, систему «розділення рішень» між владними структурами різних типів і рівнів. На порядку денному докорінне перетворення всієї системи влади – політичних інститутів, держави, системи виборів, конституції, законів тощо. Е. Тоффлер упевнений, що «в щонайближчі роки на зміну нашим непридатним, гноблячим, застарілим

інтегрованим структурам придуть нові дивовижні суспільні утворення» [там же, с. 147].

Таким чином, Е. Тоффлер достатньо оригінально підходить до проблеми технократії та її ролі в новому світі. З одного боку, у його концепції можна простежити вплив попередніх теоретиків, особливо Дж. Гелбрейта, частково Д. Белла і, можливо, навіть Т. Веблена, а саме коли Е. Тоффлер порівнює демократію з механічним пресом. Як і всі представники технологічного детермінізму, Е. Тоффлер явно переоцінює місце та роль технократії в суспільстві. По суті, вона є єдиним владним прошарком індустріального суспільства, й не зовсім зрозуміло, куди зникають у Е. Тоффлера власне підприємці й капіталісти. Адже ще в ХІХ столітті вони, на його ж думку, керували всім і, мабуть, тільки до середини ХХ століття влада повністю перейшла до технократів. У такому разі, влада технократії – породження не всієї індустріальної епохи як цілого, а тільки її завершальної частини, як це й уявляв собі Дж. Гелбрейт. Не можна погодитися і з тоффлерівською абсолютизацією ролі технократії в керуванні державою, оскільки добре відомо, що за «постійно діючою машиною» тиску на владу, за лобістськими групами та іншими угрупованнями впливу звичайно стоять вагомні фінансово-промислові кола, волю яких часто й виконують урядові чиновники-технократи. Е. Тоффлер, таким чином, дещо спрощує деякі реалії сучасного світу й абсолютизує тенденції, що зародилися в минулому.

Однак, з другого боку, його висновки й узагальнення щодо ролі й структури технократичних еліт достатньо оригінальні й дозволяють виявити такі аспекти влади технократії, які дослідники звичайно залишають поза увагою, наприклад, роль «супереліти» в системі технократичної влади, підміна технократією народного представництва й у принципі все, пов'язане з критикою індустріального антидемократизму й бюрократизму, та багато що інше. Найбільш же оригінальними є, на наш погляд, міркування Е. Тоффлера про зменшення ролі технократії в умовах нового інформаційного суспільства. Усупереч практично всім футурологам, що наполягають на підвищенні ролі технократії в нових умовах, він вважає, що ця еліта вже відживає своє і створена нею «машина управління» не може увігнатися за динамікою суперіндустріального світу. Із твердження про те, що старі еліти не можуть очолити процес створення нових політичних інститутів, а повинні лише приєднається до руху, який веде широка громадськість, і з настирливих заяв про необхідність демократизації управлінських рішень і всього держапарату можна зробити висновок, що вся технократія в класичному розумінні цього терміна для Тоффлера – віджилий клас.

Висновок достатньо революційний як для Е. Тоффлера, так і для всієї теорії постіндустріалізму. Він не прояснює, хто в такому разі здійснюватиме технічні й управлінські функції в новому суспільстві, як і не робить жодних припущень про характер нових політичних інститутів, залишаючи ці питання для широких суспільних дискусій. Головна ідея Е. Тоффлера, судячи з усього, полягає в тому, що, по-перше, саме технократія старої машинної епохи, майже ототожнена ним із бюрократією, а не спеціалісти-технократи взагалі повинна відійти від керування суспільством; по-друге, антидемократизм машинної технократії, а не сам принцип

організації влади на підставі спеціального знання та вміння повинен бути підданий ревізії, і в цьому якраз і є новизна його підходу. Він першим у книзі масового характеру заявляє про те, що бюрократична організація влади абсолютно неможлива для нового суспільства, і саме цю його думку з радістю підхопили всі подальші поборники концепцій «відмирання держави» й «прямої електронної демократії» інформаційного століття. Таким чином, на наш погляд, можна стверджувати, що Е. Тоффлер уперше в концепції технократизму надає засадничого значення ідеям демократизму й антибюрократизму.

Свого піку кратологія Е. Тоффлера досягає в «Метаморфозах влади», яка вийшла друком 1990 року і, за словами самого автора, завершила його двадцятип'ятирічні дослідження змін, «які проведуть нас в XXI столітті» [5, с. 15]. Ця робота фокусує увагу саме «на піднесенні нової системи влади, що замінює систему влади індустріального минулого». Тому вона становить для нас особливий інтерес.

Е. Тоффлер трактує владу достатньо розширювально, ототожнюючи її за функціональним наповненням з керуванням, а за соціально-топологічним розповсюдженням – із суспільними відносинами. Влада в його уявленні – «це неминучий аспект будь-яких людських взаємин, і він впливає на все – від сексу й роботи до машини, яку ми водимо, телебачення, яке ми дивимося, надій, за якими женемося. І ми – продукти влади значно більшою мірою, ніж багато хто з нас уявляє» [там же, с. 22]. Це найменш зрозумілий і найбільш важливий аспект людського життя, на думку Е. Тоффлера. Тому так важливо осмислити ті зміни й метаморфози, які відбуваються з владою в наш час – в епоху кризи старої цивілізації й настання нового століття. Підґрунтям ж усіх цих змін, на думку вченого, є різке зростання ролі знань у всіх сферах діяльності й пов'язане з цим зростанням «піднесення нової системи створення матеріальних цінностей», тобто «економіки знань».

Осмислюючи цю обставину, Е. Тоффлер доходить висновку, що в сучасному світі змінилося співвідношення між початковими джерелами влади – насильством, багатством і знанням. Він не заперечує, що у влади можуть бути й інші ресурси, але ці три, на його думку, завжди залишаються найважливішими. Вони утворюють «тріаду влади», і які б інструменти влади не експлуатувала правляча еліта й окремі люди у своїх взаєминах, «сила, багатство й знання залишаються її основними важелями». Владу можна одержати й утримувати за допомогою будь-якого з цих засобів, але це буде влада різного обсягу та якості. Найменш якісну владу надає насильство, «владу середньої якості» надає багатство, і, нарешті, найбільш високоякісна влада – це влада, яку забезпечує знання. Влада, що ґрунтується на знанні, має найбільшу ефективність, бо дозволяє досягти мети з мінімальними витратами. «Знання часто можуть використовувати для того, щоб примусити іншу сторону полюбити вашу послідовність операцій під час виконання дії. Вони можуть навіть переконати людину в тому, що вона сама вигадала цю послідовність» [там же, с. 37]. Тому влада знання найбільш універсальна й досконала і завжди служила всім правителям і елітам найважливішим знаряддям панування.

Але якщо раніше перші два джерела влади все-таки відігравали провідну роль у владних відносинах, то тепер відбувся «зсув» у бік знання. У цьому, на його тверде

переконавання, і полягає сутність сучасної владної метаморфози: «...і сила, і багатство стали вражаюче залежати від знання» [там же, с. 38–39]. Військові тепер покладаються на наукове стратегічне планування, комп'ютерні системи й високоточну технологічну зброю. Збагачення теж стало залежати переважно від наукових кадрів – професійних менеджерів та інших фахівців. У результаті в сучасному світі знання, за словами Е. Тоффлера, «виявляються не тільки джерелом найбільш високоякісної влади, але також компонентом сили й багатства». «Знання перестало бути додатком до влади грошей і влади сили, знання стало їх сутністю. Воно, по суті, їх граничний підсилювач». У цьому, на думку Е. Тоффлера, і є ключ до розуміння сучасних метаморфоз влади, які призводять до битви за знання й засоби комунікацій у всесвітньому масштабі [там же, с. 39–40].

Е. Тоффлер намагається також визначити характеристики знання й систем комунікацій як джерела влади. Знання, на його тверде переконавання, – це найдемократичніше джерело влади. Воно досягне для всіх, не може бути монополізоване, витрачене й має тенденцію нескінченно розширюватися. Тому «правила гри за владу, пов'язану зі знаннями, різко відрізняються від правил, на які покладаються ті, хто застосовує силу й багатство для здійснення своєї волі» [там же, с. 41–42]. Знання завжди є головним джерелом загрози «владу імуцим», навіть коли вони використовують його у своїх інтересах, і в цьому його революціонізувальна сила стосовно всіх форм владних відносин. Ці міркування Е. Тоффлера зовсім не нові. Практично те ж саме можна виявити в Д. Белла та багатьох інших учених і мислителів. Але саме Е. Тоффлер уперше надає цим ідеям центрального місця та самодостатнього значення й доносить їх до широких мас у дуже простій і досяжній формі.

Перебуваючи явно під впливом ідей постмодерністів, і особливо М. Фуко, Е. Тоффлер заявляє, що знання не є нейтральним відносно влади. «По суті, кожен „факт“, використовуваний у бізнесі, політичному житті або повсякденних людських стосунках, – пише Е. Тоффлер, – впливає з інших „фактів“ і припущень, які були сформовані, зумисне чи ні, наявною раніше структурою влади. Кожен „факт“, таким чином, має історію, пов'язану з владою, і „майбутнє“, тобто вплив, сильний або слабкий, на поведінку влади в майбутньому» [там же, с. 40]. Суперечливі факти, брехня й фальсифікація – це також завжди продукт влади, як і будь-які закони, норми або релігійні істини. Вони є «спорядженням у грі влади» і, разом із тим, формами знання. Тобто істинність знання для Е. Тоффлера – поняття відносне, вона залежить тільки від влади.

У його розумінні термін «знання» («у широкому сенсі») охоплює «інформацію, дані, уявлення й образи, а також підходи, цінності та інші символічні продукти суспільства, незалежно від того, „істинні“ вони, „приблизні“ або „помилкові“» [там же, с. 41]. При цьому, проте, учений не ставить перед собою природне запитання – що же тоді породжує владу, яка створює знання? Судячи з його міркувань, імовірно, знову ж таки знання, але Е. Тоффлера цей дискурс із постмодерністським ухилом зовсім не зацікавлює. Він посилається на плутанину у визначенні понять «знання», «інформація», «дані», «символи» тощо, заявляючи, що «скільки знають, стільки й

визначень». Разом з тим, сам Е. Тоффлер ще більш заплутує ситуацію, пропонуючи три визначення знання для різних контекстів і відзначаючи, що особисто він замінює поняття «інформація», «знання» й «дані» одне одним просто «щоб уникнути нудних повторень» [там же].

Насправді для нього важливий лише найзагальніший аспект проблеми співвідношення влади та знання – хто і як використовує знання для зміцнення своїх владних позицій у сучасному суспільстві. «Контроль над знаннями – ось сутність майбутньої боротьби за владу в усіх інститутах людства», – безапеляційно проголошує Е. Тоффлер. «Поки ми не зрозуміємо, як і до кого спливають знання, ми не зможемо ні захиститися від зловживань владою, ні створити краще, демократичніше суспільство, яке нам обіцяють технології завтрашнього дня» [там же, с. 43]. Це і є декларований лейтмотив його книги, хоча, зрештою, її присвячено не більше ніж опису змін у різних системах влади у зв'язку зі зростанням ролі знання і, особливо, у зв'язку з вдосконаленням засобів комунікацій та інформаційних технологій.

У першу чергу його цікавлять зміни у сфері бізнесу, пов'язані із зростаючою роллю інформації та знання. Розглядаючи ці питання, Е. Тоффлер мало зачіпає власне проблему влади. Велика частина його спостережень і міркувань зосереджені на питаннях підвищення ефективності виробництва та змінах в системі організації праці. Особливу увагу приділено формуванню за допомогою інформаційних технологій нової «суперсимволічної» економіки, у підґрунті якої опиняються нові форми капіталу, що базується на знанні.

Найбільш важливими для нашої теми в «економічній частині» роботи Е. Тоффлера є міркування про нові форми організації управління бізнесом. Традиційна бюрократія (яку вже не іменовано більше технократією), на його думку, є безнадійно застарілою в інформаційне століття. Незадоволення бюрократією в наші роки в уявленні вченого – явище цілком закономірне, оскільки це наступ на форму влади, що переважає в «епоху фабричних димарів», тобто за часів індустріалізму. Щоб зрозуміти, у чому недолік традиційного керування, яке гальмує сучасне виробництво, він аналізує організацію бюрократії та підстави її влади. На його думку, сила бюрократії стане з'ясовною, якщо зрозуміти, що це не просто організація людей, а ще й спосіб «групувати факти», своєрідний апарат контролю за знаннями та інформацією, які й дають їй владу [там же, с. 205–206]. Традиційно бюрократія складається з менеджерів, які контролюють канали інформації, і спеціалістів-адміністраторів, що посідають призначені тільки для них «теплі містечка» та контролюють усю інформацію, що приходить туди, на підставі володіння спеціальними знаннями. В індустріальну епоху така система керування була досконалою, бо дозволяла переробляти необхідні потоки інформації й підтримувати ефективну роботу компаній. Тепер же через величезну кількість і різноманітність інформації ця система стала вкрай неефективною, оскільки можливості та знання людей на своєму робочому місці дуже обмежені. Багато проблем вони просто не можуть або не встигають вирішити. Через це в адміністраціях фірм постійно виникають великі конфлікти, бюрократи починають відчайдушно боротися за

збереження власних місць, і колишня раціональність управлінського апарату повністю зникає, поступаючись місцем ірраціональній боротьбі за владу. Слід зазначити, що у своїх міркуваннях про бюрократію Е. Тоффлер перебуває у фарватері теорії М. Вебера, не поглиблюючи, а, швидше, розширюючи її аналізом нових умов, ситуацій і соціальних тенденцій.

У подоланні бюрократичної кризи, на думку Е. Тоффлера, не можуть допомогти ніякі кадрові перебудови, рівно як і реорганізації апарату або передання деяких рішень іншим органам. Усе це призводить або до розростання апарату та подальшої бюрократизації, або до некомпетентності керівництва. Змінити необхідно власне спосіб організації знання та інформації й методи її отримання. Найбільшу допомогу в цьому можуть надати інформаційно-комп'ютерні системи. Такі системи за їхніх сучасних можливостей систематичного та інтуїтивного пошуку можуть забезпечити «відкритий потік» інформації та знань, необхідних для керування. Замість вузької спеціалізації бюрократа компанія дістає доступ до всіх знань і варіантів вирішення проблем, не тільки тих, що зберігаються у власних базах даних, але й тих, які створені в межах досяжності мереж. Із цих міркувань Е. Тоффлера залишається, проте, незрозумілим, хто оброблятиме всю цю інформацію для прийняття рішень, адже для цього слід мати не менш кваліфікованих фахівців.

Якщо емоційне захоплення Е. Тоффлера можливостями комп'ютерної техніки цілком можна зрозуміти, то раціонально організовані твердження про те, що комп'ютер, Інтернет і тому подібні технічні засоби можуть реорганізувати суспільство й вирішити соціальні проблеми виглядають, на наш погляд, дещо дивно. Ми вважаємо, що Е. Тоффлер, таким чином фактично переносючи можливість вирішення соціальних проблем у технічну сферу, вільно або невільно спускається в глибини ортодоксального технологічного детермінізму епохи не те що Т. Вебелена, а, може бути, й А. Сен-Сімона.

В описі політичного життя нового інформаційного світу Е. Тоффлер не особливо оригінальний. Він лише трохи модифікує висловлені в «Третій хвилі» ідеї про занепад «масової демократії» індустріального століття, необхідність переходу до «демократії меншин», децентралізацію влади за рахунок регіонів, зростання ролі етнічного й релігійного чинника тощо [там же, с. 290–305]. Більш цікавими є його ідеї щодо змін у державному управлінні. Тут, на його думку, ще продовжує всім правити «найголовніша партія – партія бюрократії» [там же, с. 306]. Проте «нова революційна економіка», без сумніву, може переламати цю ситуацію, змінивши стосунки між бюрократами й політиками та реструктуризувавши власне державну бюрократію. На прикладі японського міністерства інформації, яке фактично очолило уряд у найпередовішій постіндустріальній державі, Е. Тоффлер показує, що в новому світі «влада перетикатиме до тих управлінь, які в суперсимволічній формі контролюють інформацію й розширюють сферу своїх повноважень» [там же, с. 308–309]. Розширюючи цю тезу, він припускає, що в майбутньому більшу вагу в суспільстві одержать відомства, що відповідають за освіту, науку й екологію, але все це відбудеться тільки тоді, коли суспільство остаточно усвідомить важливість усіх цих сфер.

Інше важливе положення Е. Тоффлера стосовно реформ держуправління полягає в тому, що державний апарат повинен наслідувати зміни, які вже відбулися або відбуваються в системі управління бізнесом. Так, приватизація державного сектора економіки, що мала місце в багатьох країнах, уподібнена розукрупненню й реструктуризації приватних промислових підприємств. Аналогічним чином підкреслено необхідність децентралізації управління й руйнування вертикальної ієрархії державної бюрократичної влади. Підвищити ефективність бюрократичного апарату допомагає передання урядом багатьох управлінських функцій законодавчим комітетам і спеціальним комісіям, а також місцевим і регіональним органам влади й навіть приватним корпораціям та різним установам. Підриву жорсткої ієрархії в уряді також достатньо сприяє широке впровадження нових комунікаційних технологій, які замінюють старі інформаційні канали, а часто й людей, що мали спеціальні знання та інформацію. Проте ситуація в держуправлінні ще продовжує залишатися достатньо складною, оскільки стара бюрократична машина просто не в змозі швидко реформуватися й реагувати на всі виклики нового інформаційного століття. Політичні лідери, як і раніше, перебувають у великій залежності від бюрократії й часто не хочуть від неї відмовлятися внаслідок власної невідповідності взаємодіяти з інформаційними потоками й вирішувати наростаючу кількість проблем сучасного суспільства.

Надзвичайно важливим явищем нової політичної реальності Е. Тоффлер вважає свідому маніпуляцію інформацією та знаннями, яку здійснюють практично всі сучасні уряди. Надзвичайна важливість тут пов'язана не з власне можливістю маніпуляції – вона була завжди, – а, швидше, з масштабами й наслідками, які сформувалися в умовах гіпертрофованої ролі знання та інформації в сучасному суспільстві. Тому, на наш погляд, дуже важливо і правильно, що Е. Тоффлер приділяє цьому питанню велику увагу. Ця так звана «інформтактика» дозволяє, на його думку, утримувати й зміцнювати владу дуже ефективним чином, оскільки в сучасному світі чи не все залежить від обізнаності.

Перш за все вчений виділяє маніпуляцію на рівні комунікації, тобто фактично переданні повідомлень через засоби масової інформації або спеціальні канали, що ґрунтуються, зокрема, на новітніх комунікаційних технологіях. Е. Тоффлер виділяє й аналізує цілу низку спеціальних тактик, що склалися в цьому різновиді маніпуляцій: організоване просочування інформації, пряму дезінформацію, приховування реального джерела, використання таємних каналів, регулювання доступу реципієнтів до інформації, маніпулювання змістом повідомлення [там же, с. 317–332]. Усе це застосовують як у відносинах між урядами, так і особливо всередині урядів з метою внутрішньої боротьби за владу, а також просто для посилення влади. Зрештою, найбільше «обдуреними» виявляються звичайні громадяни. Маніпуляція заходить так далеко, що правдива інформація практично повністю зникає, і, більш за те, виявляється абсолютно неясним, хто винен в її приховуванні. «Велика частина даних, інформації та знання, що перебуває в обігу в уряді, – говорить Е. Тоффлер, – такою мірою пройшли політичне оброблення, що якщо ми поставимо запитання „Чиїм інтересам це відповідає?“ і навіть матимемо із цього приводу певні припущення, то

все одно не зможемо пробитися через коловерть до сутності подій» [там же, с. 331].

Це, за словами Е. Тоффлера, формує дуже важливе питання «співвідношення знання й демократії». Як забезпечити інформованість народу, без якої демократія неможлива? На думку вченого, тільки відкритого доступу до документів і заборони секретності в цьому питанні явно недостатньо. Необхідно знати, «якому обробленню вони піддалися на своєму шляху, переходячи з рук до рук, з рівня на рівень, з однієї інстанції до іншої в бюрократичних надрах уряду» [там же]. Найбільш важливим «змістом» політичного документа або повідомлення стає тепер не його текст, а історія його оброблення. «Загальнодоступне розповсюдження таких відмінно розроблених прийомів інформтактики, – вважає Е. Тоффлер, – ставить під сумнів всяку ідею, що керівництво – це „розумна” діяльність і що лідери здатні ухвалювати „об’єктивно обґрунтоване” рішення» [там же, с. 331–332].

Під впливом «спотворення знання» перебувають, таким чином, не тільки громадяни, але й власне політики, і стосовно цього ще важливішою Е. Тоффлеру видається проблема вищого рівня маніпуляції знанням – проблема так званої «мегатактики». Це – маніпулювання даними й висновками за допомогою комп’ютерної техніки, яке спотворює не кінцеві повідомлення в засобах масової інформації, а початкову інформацію, «точні відомості», якими користуються політики й бюрократи у своїй роботі. Адміністративні структури в новому суспільстві вже не можуть обійтися без комп’ютерів та інформаційних систем, які є для них первинним джерелом фактів. Тому ті, хто має владу над людьми, які контролюють програмне забезпечення, можуть свідомо спотворити будь-які факти, перебудувавши таким чином майбутні політичні рішення у своїх інтересах. Природно, що цим широко користуються найрізноманітніші кола та окремі особи. Виникає можливість підтасовування будь-яких фактів і відомостей, аж до результатів голосування на виборах. Найнебезпечніше ж, на думку Е. Тоффлера, це те, що уряди звичайно обізнані про такі махінації, але аніскільки не опираються їм, оскільки головне для них – це не істина, а тільки цифри. Політичних тактиків не цікавить навіть проста точність, бо ця інформація потрібна їм не як джерело реальних знань, а лише як «боєприпаси для ведення інформвійн». «Для нападів на супротивника не відіграє ролі, чи відповідають дані, інформація та знання „істині”, чи ні» [там же, с. 343].

Таким чином, Е. Тоффлер досить яскраво розкриває можливості сучасної «технократії» в галузі боротьби за владу за допомогою знання та інформації. Ці міркування мають у нього яскраво виражене негативне забарвлення й видають явне ознайомлення автора з концепціями сучасних аналітиків влади, особливо постмодерністського напрямку. Але Е. Тоффлер не йде так далеко, як постмодерністи, і майже нічого конкретного не говорить про прихований прояв влади в знанні, який відбувається за використання різних наукових теорій і моделей. Він прагне виявити тільки те, що є результатом свідомої маніпуляції та прямо й безпосередньо впливає на перерозподіл влади в суспільстві. Разом із тим, масштаби, у яких він розкриває цей вплив, достатньо великі. Урядова машина перетворюється в нього на систему постійної маніпуляції знанням й інформацією та одночасно в жертву такої маніпуляції. Е. Тоффлер виявляє таким чином негативний аспект взаємодії влади і

знання, що не часто виявляється в сучасних роботах. Проте, за своєю звичкою, він не робить будь-яких далекосяжних висновків із цього приводу й не наводить ніяких конкретних рецептів подолання такої ситуації, обмежуючись лише найзагальнішими застереженнями й банальними порадами суспільству.

Найважливішим для нього є показати негативний тіньовий бік роботи бюрократичного апарату в держсекторі, виявити підстави могутності бюрократів у новому інформаційному столітті, остаточно переконавши читача в тому, що ця структура тільки гальмує суспільство на шляху до вільного демократичного майбутнього. Не можна, проте, не відзначити, що детальний опис «урядових маніпуляцій» з використанням новітніх технологій суперечить положенням самого Е. Тоффлера про «негнучкість» та архаїчність сучасних бюрократів і цілком може затвердити читача в думці про те, що саме урядова бюрократія через свою гнучкість й адаптивність уже увійшла до інформаційного століття, і це надає їй величезних переваг у боротьбі за владу.

Таким чином, можна зробити висновок, що Елвін Тоффлер зробив значний внесок до вирішення проблеми влади і пов'язане це головним чином дослідженням основних ресурсів влади й передусім знання. Він цілком логічно і обґрунтовано показує, що з розвитком суспільства й у першу чергу з розвитком науки, техніки й технологій саме знання стає головним ресурсом влади сучасного інформаційного суспільства. У цьому – переході пріоритетної ролі від сили до багатства, а потім і до знання – і полягає сутність сучасних метаморфоз влади. Проте до цього явного висновку, на наш погляд, необхідно додати прихований, обертональний висновок про те, що головним вектором трансформації влади є розвиток демократії, саме на цій підставі Е. Тоффлер скидає з вершини піраміди влади класичну індустріальну технократію, розподіляючи владу між новою, широкою технократією та народом. У цьому ми вбачаємо інший контекст метаморфоз влади за Е. Тоффлером.

Література:

- Копылов В. А.* Неотехнократия: продолжение поиска социального идеала в проблемном поле технологического детерминизма (теория постиндустриального общества) // Гуманитарный часопис: 36. наук. праць. – Х., 2006. – № 4.
- Тоффлер Э.* Третья волна. – М., 1999.
- Восленский М. С.* Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М., 1991.
- Гелбрейт Дж. К.* Новое индустриальное общество. – М., 1969.
- Тоффлер Э.* Метаморфозы власти. Знания, богатство и сила на пороге XXI века. – М., 2003.

УДК 130

Проценко А. Ф.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ОСНОВА И НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНАЯ ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ

У статті розглянуто специфіку розуміння соціальної конфліктності відповідно до тієї сфери її дослідження, яка пов'язана з аналізом методологічного потенціалу детерміністської інтерпретації цієї проблеми. Основна увага приділяється розгляду двох аспектів: діяльнісного й нормативно-ціннісного.

Ключові слова: соціальна конфліктність, детермінація, обумовленість, причинність, діяльність, нормативно-ціннісна система.

The article deals the specificity of interpretation of social conflicts according to the research sphere which connected with analyzing of methodological potential of determinative interpretation of this problem. Main attention is paid to examination of two aspects: activity and normative-value.

Key words: social conflicts, determination, conditionality, causality, activity, normative-value system.

Глобальность социальной динамики в современном обществе, которое нередко называют обществом тотальной коммуникативности, информационности, потребления, не только актуализировало обсуждение контуров цивилизации XXI века в контексте концепции «общества риска», но и привело к фактическому «слиянию» истории и теории конфликта в единую науку – «конфликтоведение», объем которой разросся до невиданных размеров. Помимо общего роста научной конфликтологической литературы заметно и то, что новейшие конфликт-коммуникационные технологии оказывают достаточно заметное преобразовательное влияние на все сферы межсубъектного взаимодействия в обществе как в рамках национальных границ, так и в мире в целом. В этом процессе следует отметить и место конфликтологии – сферы философских размышлений относительно глубинных метафизических причин деструктивных и конструктивных проявлений человеческой природы в системах «конфликт – общение» и «конфликт – отношение». Причем одной из главных философско-методологических тенденцией в историческом развитии конфликтологических исследований, начиная с Аристотеля, был вопрос причинной детерминированности социальной конфликтности. Большое значение для изучения причин конфликтности имеет концептуальный потенциал конфликтологического знания, придающий ему преимущественно теоретико-методологическую направленность. Нельзя сказать, что эмпирическая наука, часто именуемая конфликтологией, имеет собственную философскую структуру и ориентиры в своей специфической сфере исследований форм детерминации конфликтных процессов.

В настоящее время аналитическая проработанность данной проблематики ограничивается, как правило, либо рассуждениями общего порядка, либо простым

обозначением многообразных по своему содержанию причин социальных конфликтов. Так, например, в отношении причин межличностных конфликтов типичным является утверждение, что они «возникают вследствие неудовлетворения потребностей, желаний, устремлений общающихся и взаимодействующих индивидов» [7, с. 278]. В данной статье предпринята попытка рассмотреть философские корни и посылки в специфической сфере исследований, связанных с бесконечным и беспокойным поиском причин социальной конфликтности. На наш взгляд, любая конфликтологическая теория может рассматриваться перспективной лишь тогда, когда с ее помощью не только корректно выделяются, описываются, определяются и классифицируются явления своей предметной области, но и появляется возможность найти им причинное объяснение, т. е. указать, чем они порождаются и какие следствия имеют для перспектив развития общества, его подсистем и человека вообще.

Современный этап развития конфликтологической науки располагает широким арсеналом работ западных ученых, определяющих ведущие тенденции изучения вопросов детерминации конфликтного взаимодействия социальных субъектов. В их числе монографии Л. Козера «Функции социального конфликта» и «Продолжение исследования социального конфликта»; Р. Дарендорфа «Классы и классовый конфликт в индустриальном обществе», «Очерки социальных исследований», «Конфликт и свобода»; К. Боулдинга «Конфликт и оборона. Общая теория»; А. Рапопорта «Ссоры, игры и дебаты», «Стратегия и совесть»; Т. Шеллинга «Стратегия конфликта»; Дж. Дьюка «Конфликт и власть в общественной жизни»; Л. Крисберга «Социология социальных конфликтов» и «Социальные конфликты»; Р. Коллинза «Конфликтная социология. К объясняющей науке», Ж. Химса «Конфликт и управление конфликтом»; С. Митчелла «Структура международного конфликта»; Дж. Шелленберга «Наука о конфликте» и др.

Нельзя не отметить также существенных сдвигов в разработке широкого спектра проблематики социальной конфликтности в «послесоциалистический» период отечественной конфликтологии, которая за последние без малого два десятилетия прошла большой путь развития и заявила свои претензии на самостоятельное место среди научных дисциплин, изучающих проблемы современной цивилизации (включая и вопросы динамики социальных трансформационных процессов). Это стало возможным благодаря тому, что был преодолен культ догматического мировоззрения, расширились возможности для изучения реальных конфликтных фактов, проведения эмпирических исследований. Аналитическая деятельность сопровождалась признанием того, что конфликтность была не чужда и существующему ранее социалистическому общественному строю, что это закономерно сопутствующее ему явление.

Специалисты, освободившиеся от догматического гнета, с энтузиазмом брались за изучение конфликтной действительности в условиях трансформационных преобразований, вскрывали реальные конфликтогенные процессы в общественной жизни. При этом интенсивно развивались международные профессиональные контакты, в результате широко распространились достижения конфликтологов

зарубежных (в особенности российских), в том числе и западных стран; появились возможности участия в международных форумах, взаимного обмена, сравнения отечественных результатов с результатами других стран. Основополагающие размышления в связи с социальной нестабильностью и возникающими конфликтными ситуациями непосредственно касались проблемы генезиса конфликтности. Все шире утверждалось положение, что конфликтность определяется общественными отношениями, существующая социальная несправедливость, антиобщественные взгляды и установки сознания в значительной степени доминировали в объяснении причин разрушительных форм конфликтного поведения в социуме. На фоне социальных факторов биологические и физические факторы отходят на задний план или вообще вытесняются из процесса детерминации конфликтности.

При обсуждении вопросов адекватного понимания нынешнего периода истории все большее значение придавалось раскрытию причинного механизма, то есть определению того механизма воздействия, с помощью которого детерминируется конфликтное поведение человека. Предпринимались интересные попытки обобщить причинные факторы, действующие на индивидуальном уровне, и через их частотность, повторяемость предлагались различные варианты объяснения конфликтности как массовых форм социального взаимодействия (например, забастовок).

Исторический взгляд позволяет заметить, что в ходе развития теории конфликта ее силовые линии так или иначе концентрируются вокруг проблематики, которая непосредственно затрагивает осмысление деятельностной специфики конфликта. И это не случайно, так как именно здесь, с нашей точки зрения, обнаруживает себя ключевая характеристика социального конфликта как субъект-субъектного взаимодействия. Это означает, что в природе имеют место противоречия, но не конфликты. Где нет взаимодействия субъектов, там и нет конфликтов. Это положение приобретает особый смысл при рассмотрении конфликта в категориальном плане, где он служит средством выделения и обозначения определенной активности человека, которая может быть достаточно полно осмыслена только посредством концептуального потенциала нового подхода к осмыслению детерминации, связанного с утверждением более широкого понимания ее, чем прежде. Дело в том, что, выступая областью социальной действительности, социальный конфликт связан с деятельностью человека как разумного, страдающего и морально ответственного существа. Конечно, следует оговориться, что предлагаемое ограничение предметной области категории конфликта не является общепринятым. На наш взгляд, является бесперспективным для теоретического анализа моделирование конфликта между человеком и природой, человеком и вещью, другими словами, представлять его не как субъект-субъектные отношения по поводу объектов. Понятие «конфликт» приобретает собственно категориальный смысл тем, что указывает на тип и формы взаимодействия социальных субъектов и возводит его разработку в ранг фундаментальной проблемы современного научного познания общества, социального познания, где он и предстает как категория «социальный конфликт».

Субъект-субъектная структура социального конфликта раскрывает эти процессы не как игру «слепых сил», а как осознанные действия людей. В этом принципиальное отличие его от чисто энергетических взаимодействий неживой природы и информационно направленной активности живых систем. Если в противоречии фиксируется незаинтересованность, то социальный конфликт – это совокупная категория, которая с необходимостью включает и объединяет ценностную, деятельностную и отношенческую проблематику. Он выражает ценностно-нормативные ориентации участников, отражает социально-историческую ситуацию и непосредственное «бытие» социального противоречия. Осознание противоречий (проблем) может быть и условием превращения его в причину или же в элемент конфликтной ситуации. Конфликт в обществе так или иначе всегда представляет «личностное», «заинтересованное», «включающее» отношение принятия, сопереживания существующей противоречивости. Сознание может создавать идеальные программы, направляющие действия субъектов, контролировать ход реализации, управлять и прогнозировать варианты разрешения конфликтов. В социальных конфликтах сознанию принадлежит и роль реального причиняющего фактора. В качестве субъективного фактора оно отличается большим количеством «степеней свободы», способно существенно варьировать ходом конфликтного взаимодействия субъектов. Поэтому с феноменологической стороны может произвести впечатление случайного, неповторимого результата «воли случая», человеческих желаний.

Учитывая сказанное, подчеркнем и другое: конфликтное развитие включает возможность одинаковых, совпадающих ситуаций, и, следовательно, делает возможным выведение некоторых объективных закономерностей в этом процессе. Зафиксировать их можно на различных фазах состояния конфликта. Это означает, что в событийных пластах социальных конфликтов, реальных и динамичных, имеет место отражение в большей или меньшей степени сущностных, устойчивых и повторяющихся связей. За неповторимостью и уникальностью любого социального конфликта скрываются инварианты, сводимые к безличным, незаинтересованным социальным отношениям.

Затронутая нами проблема объективности социального конфликта во многом упирается в понимание, прежде всего, сущностной, структурной и эволюционной зависимости его от социального противоречия. Конечно, эта проблема не может решаться раз и навсегда простым ответом о примате тех или иных противоречий, т. е. нельзя рассматривать эту связь как однозначную. Один и тот же конфликт может возникнуть на основе совершенно разных противоречий, как одно и то же противоречие может вести к разнообразным конфликтам. Подвижный характер их соотношения объясняется главным образом относительной характеристикой формы (конфликта) по отношению к своему содержанию (поляризация противоположностей). Выявление причинно-следственных зависимостей между противоречиями и конфликтами, на наш взгляд, представляет одну из центральных линий в изучении проблемы детерминации последних. Поэтому переход от противоречия к конфликту не есть простое переименование острого противоречия в

конфликт, а нечто более широкое и важное. Это есть фиксация того, что объективное развитие всей предыдущей деятельности субъекта при посредстве интересов перерастает в новую деятельность, в новый фазис развития противоречия, осуществляемый сознательно. Очевидно, социальный конфликт есть единство объективного и субъективного и его содержание зависит от совокупности факторов – как общих, так и специфических; как внутренних, так и внешних.

Такой подход позволяет обратить внимание на сложность постижения проблематики детерминации социальной конфликтности, появляется возможность рассматривать детерминацию как явление более широкое, чем только причинная связь. Такой подход к поиску детерминации социальной конфликтности оказался методологически продуктивным. Исследователи начали находить новые аспекты детерминации, на которые в прошлом не обращалось достаточного внимания. Это, прежде всего, соотношение причинных и не причинных форм детерминации, особенно системной, идеи которой нашли отражение в процессе исследований широкого спектра логико-методологических проблем социального конфликта. Обозначенный подход к детерминации социальной конфликтности выводит на авансцену изучения принципа обусловленности применительно к конфликтной проблематике. Более того, обусловленность предстает как одна из значимых форм детерминации конфликтного поведения субъектов, от которой существенным образом зависит процесс причинения.

В принципе, беря во внимание парадигму конфликта, правомерно отметить важные результаты, касающиеся исследования причин социальной конфликтности. Во-первых, внесоциальная обусловленность, главная – биологическая (такие воззрения представлены сторонниками социал-дарвинизма). Во-вторых, обусловленность психологическая, где причины конфликтов усматриваются в человеческих инстинктах (такой взгляд характерен для натуралистических концепций психологии). В-третьих, обусловленность, относящаяся к психологии социальной, когда источник социальных конфликтов усматривается в факторах психики (психических), относящихся к сфере сознания (такого рода взгляды имели место у сторонников так называемой «психологии толпы»). В-четвертых, обусловленность психологическая, где предлагается трактовка конфликтов как процессов, сопровождавших адаптацию, в то же время общественные конфликты рассматриваются как эффект психологической неприспособленности индивида или групп к процессам, происходящим в общественных системах (такой взгляд характерен для представителей неопсихоанализа). В-пятых, обусловленность социальная: причины конфликтов во внутренних противоречиях функционирования общества (такой взгляд акцентирует внимание на конфликтообразующих факторах: неравенство и общественная дистанция, власть и господство, общественная система ценностей или всякого рода разделы социального изменения – демографические, экономические, культурные, организационные, технологические и пр.). В современном обществе, учитывая макроуровень, нередко называют в качестве популярных следующие факторы: демографический взрыв (Х. Д. Грахэм, Г. Броди, Дж. Блэкберн); территориальный императив (К. Претвитц); урбанизация (Л. Келсо,

М. Адлер); вражда поколений (Г. Блейн, Р. Линтон); технологический (Р. Беккер, С. Боулл); отчуждение личности (И. Файрабенд); излишество демократии и свободы (Ж. Маритэн, Р. Нибур).

Конечно, обоснование постулата о самостоятельном статусе обусловленности как особой формы детерминации нуждается в серьезной аналитической проработке. Прежде всего наблюдается проблемная ситуация касательно разработки понятийного аппарата конфликтологии вообще, о которой многие авторы заявляют как о науке, изучающей конфликт: закономерности его возникновения и развития, способы разрешения, методы регулирования и профилактики [4; 5; 8; 11]. Достаточно сказать, что почти все базовые понятия, образующие «каркас» теории конфликта, являются либо дискуссионными, либо не имеют определения вообще. Авторы многих работ [8; 10; 11] пользуются содержанием ключевых понятий на интуитивном уровне, большая часть имеющихся определений вообще неудовлетворительны. Вызывают много вопросов и возражений, предлагаемые в конфликтологической литературе решение проблем соотношения понятий, например, «социальный конфликт» и «социальная конфликтность» и др.

Как ни странно, но до сих остался в тени вопрос о целесообразности принятия и последовательного осуществления детерминистской концепции, т. е. спор вокруг принципа детерминизма, который имеет место в философии, обнаружил себя и в конфликтоведении. Позиция сторонников связана с утверждением, что общественное бытие предоставляет возможность индивиду для различного рода действий и он всегда имеет выбор. Однако выбор субъекта из предложенных возможностей (скажем, стратегий поведения) зависит от его конкретного состояния (эмоций, сознания), а также от актуальной (конкретной ситуации), от влияния, оказываемого на него элементами этой ситуации. Взаимное влияние этих факторов определяет установку, которая при наличии соответствующих условий реализуется в действии.

Детерминистский подход, в современных его редакциях, признает относительную автономию субъекта, подпадающего под действие объективной конкретной ситуации, однако он не может признать, что данный субъект является продуктом взаимного влияния объективных условий прошлого и состояния субъекта в прошлом. Многие конфликты проявляют себя прежде всего как нарушение социальных норм (как меры обязательного, дозволенного или запрещенного поведения и деятельности социальных субъектов, сознательно установленная законодателем или/и же сложившаяся спонтанно в обычаях и традициях) в социуме, что с необходимостью требует учета и телеологического подхода. Согласно ему, причинность – это не универсальная закономерность, так как в деятельности социальных субъектов (например, на уровне системы «конфликт – общения») решающую роль играют не объективные и материальные отношения, а превращающаяся только лишь в «перевешивающее обстоятельство» – «цель» сознания, которое обособляется от материальных условий.

В этой ситуации в качестве главной формы детерминации выступает рабочая телеология и соответствующий ей селективно оценочный выбор. Именно этот аспект предполагает его толкования как ценностно-нравственного парадокса. Это, в свою

очередь, позволяет утверждать, что суть профилактики разрушительной конфликтности касается, в первую очередь, внешних причин, провоцирующих возникновение и репрезентацию феномена конфликтности в такой форме. Яркой иллюстрацией поиска причин конфликтности можно назвать, во-первых, неоднородность и изменчивость нормативно-ценностной системы общества («теория субкультур», социально-психологические модели «теории аномии» Э. Дюркгейма, теория «контроля»); во-вторых, версии дестабилизации социума («теория социальной дезорганизации», «теория социальных связей», «теория дестабилизации В. Реклесса»); в-третьих, стигматизация («драматизация зла» Ф. Танненбаумана, «социальная идентичность» И. Гофмана, «девиантная карьера и этикетирование» Г. Беккера); в-четвертых, социальное неравенство («теория конфликта властей», «теория неравных возможностей», «теория конфликта социальных групп», концепция «аномии» Р. Мертона, «теория экономической депрессии» и др.).

Таким образом, в изучении причин социальной конфликтности важно учитывать две позиции, которые отражают разные векторы концептуального осмысления. Первый подход характерен преимущественно аналитически- философским и позитивистски ориентированным исследованиям, где социальный конфликт воспринимается в качестве многообразных форм поведения социальных субъектов. Он подтверждает старую истину: конфликтность есть нормальное явление, она имеет социальную базу, характеризуется рядом закономерностей и связана с определенными структурными характеристиками в обществе. Такой взгляд действительно проблематизирует исследования детерминации социальной конфликтности, которая рассматривается как явление более широкое, нежели причинная связь. Кроме этого, такой подход в объяснении конфликтного поведения человека акцентирует внимание на прогнозировании социальной конфликтности, преследуя идею предупреждения ее разрушительных тенденций. В то же время углубление знаний о роли кондициональной детерминации в социальных конфликтах призвано способствовать разработке понятийной системы, значимой прежде всего для осмысления широкого спектра методологических проблем факторной аналитической модели.

Второй подход отражает главным образом анализ социальной конфликтности как «нарушений», а не действий. Это означает смещение центра и акцента в сторону нормативного аспекта и направление на понимание нормативно-ценностной природы социальной конфликтности. С этой точки зрения, специфичность осмысления человеческой конфликтной действительности сопряжена с раскрытием «механизма порождения» при помощи понятия нормативно-ценностных систем как подсистем, фрагментов конфликтной практики. Здесь конфликтное явление получает смысл благодаря его включению в определенную нормативно-ценностную систему, которую с известными ограничениями можно назвать прагматическими механизмами конфликтообразования. Это, в свою очередь, предполагает разработку специальных конфликт-технологий, в первую очередь, как этических технологий. Перспективным выглядят в этом контексте междисциплинарные исследования функциональной характеристики конфликтных процессов, а также и поиск понимания общности и

различия между конфликтным поведением и девиантным поведением, между конфликтностью и девиантностью и др.

Литература:

1. *Зайцев А.* Социальный конфликт. – М., 2001.
2. *Дарендорф Р.* Современный социальный конфликт // Иностранная литература. – 1993. – № 4.
3. *Дарендорф Р.* Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. – 1994. – №5.
4. *Запрудский Ю. Г.* Социальный конфликт (политический анализ). – Ростов, 1992.
5. *Здравомыслов А. Г.* Межнациональные конфликты. – М., 1994.
6. *Конфликты* в условиях системных трансформаций в странах Восточной Европы. – М., 1994.
7. *Конфликты* в современной России (проблемы анализа и регулирования) / Под ред. д. филос. н. Е. И. Степанова. – М., 2000.
8. *Мириманова М. С.* Конфликтология. – М., 2003.
9. *Тимофеева Л. Н.* Политическая конфликтология. – М., 1996.
10. *Тишков В. А.* Россия: от межэтнических конфликтов к взаимопониманию // Этнополис. – 1995. – № 2.
11. *Чумиков А. Н.* Управление конфликтами. – М., 1995.
12. *Юридическая* конфликтология. – М., 1995.

Раздіна О.В. **ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ
СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА
ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН**

УДК 32.001

Раздіна О. В.

**ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ СОЦІОПОЛІТИЧНОГО
ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА ПІЗНАННЯ
ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН**

В статье рассмотрено социополитическое познание как необходимая часть системы познания адекватно отраженная субъектом познания. Отмечено, что социополитическое познание не существует вне особенностей получения социального знания и статуса субъекта познания. Сделан вывод, что познавательная ситуация отражает характер общественных отношений, что не приводит к совпадению субъекта познания и субъекта политической деятельности.

Ключевые слова: социополитическое познание, субъект познания, познавательная ситуация.

Social and political cognition is the necessary part of the cognition's system and is based on the adequate of the subject's reflect of processes and phenomena. Social and political cognition is not exists without peculiarities of social knowledge receiving and the cognition's subject status. The cognition situation reflects the character of the social relations but the uncoincidence between the cognition's subject and political activity's subject is inevitable.

Key words: social and political cognition, cognition's subject, cognition situation.

Проблема соціополітичного пізнання, яка є актуальною для будь-якого суспільства з точки зору визначення цілей та засобів їх досягнення, набуває особливої важливості в періоди суспільних перетворень, які визрівають у суспільстві, та відсутності адекватної наукової оцінки того, що відбувається. Філософській аспект проблеми пізнання політичної діяльності опосередкований проблемою вибору стратегії розвитку суспільства, що є невід'ємною складовою його пізнавальної позиції. Складнощі пізнавальної ситуації, визначення можливих та необхідних шляхів розвитку політичних відносин посилюються зміною парадигми соціального розвитку та одночасного перегляду наявних у науці підходів до пояснення й опису процесів пізнання, що спостерігаємо в сучасній Україні. Крім того, в умовах стрімкого розвитку електронних систем передавання інформації й документації а також систем підготовки й прийняття рішень, що ставлять за мету оптимізацію аналітичної діяльності та передавання багатьох функцій керування в програмну форму реалізації, актуальним є розвиток сучасного академічного знання до рівня, необхідного для рішення практичних задач – розробки способів, прийомів і технологій використання знання й інформації. На сьогодні дедалі більший розвиток здобуває практична політологія (іміджелогія, передвиборна інженерія, PR-технології та ін.), яка через брак власного теоретичного знання звертається до психології, а також суміжних наук для розроблення політичних технологій.

Для української політичної науки останнього десятиріччя характерна увага в основному до питань соціально-політичної практики й значно меншою мірою – до

загальнотеоретичних проблем переосмислення, перевірки та систематизації знання. Безпосереднє звернення до питань особливостей одержання соціополітичного знання й ролі в ньому гносеологічних факторів, а також різних аспектів специфіки суб'єкта пізнання політичних відносин, не зустрічаємо ні в періодичних виданнях, ні в збірниках наукових статей, ні в монографіях. Відхід від проблем пізнання й соціального пізнання зокрема, починаючи із середини 90-х років, характерний також для російської політичної думки. На сьогодні питання пізнання розробляють у руслі їхнього філософського осмислення.

Сучасне дослідження зв'язків і взаємодії процесів пізнання багаторівневих соціально-політичних відносин, що виконують функції когнітивних структур в умовах розвитку інформаційного суспільства, яке запропонували В. Петрушенко й О. Рубанець. В. Петрушенко розкриває зміст терміна «когнітивне» щодо знання й пізнання і наводить аргументи на користь того, що онтологія знання є проблемою більш актуальної, ніж питання про пізнання загалом – серед них швидкий розвиток різноманітних засобів оброблення інформації та експерименти з інформаційними процесами, зміна сучасних поглядів на онтологію людини і, нарешті, необхідність поглиблення уявлень про способи побудови й функціонування знання для одержання дійсного розуміння інтелекту та його діяльності [1; 6–7]. Однак остання теза апелює здебільшого до епістемології, ніж до онтології, і скоріше спростовує положення про пріоритетність онтології знання у зв'язку з вивченням когнітивних процесів. Автор вважає, що структури соціальної життєдіяльності є одним з типів когнітивних структур, який не можна розглядати як вирішальний і достатній для з'ясування питання про природу й способи функціонування знання. «Несподіване значення», на думку В. Петрушенко, можуть мати результати дослідження структури суб'єкта пізнання і його властивостей [1; 16].

Визнаючи справедливості позиції О. Рубанець, що постановка проблеми когнітивного має ідеологічний і геополітичний аспекти [2, с. 24], слід зазначити, що посилення чи ослаблення ступеня міфологізації й ірраціоналізації суспільної свідомості [2, с. 25] не змінює сутності протиріччя між знанням та інформацією, а отже, не знімає з порядку денного гносеологічні особливості одержання знання й визнання істини навіть в умовах переходу методології в технологію [2, с. 23]. Автор вважає, що перехід методології в технологію є не втрата когнітивного, а додання йому нового соціального статусу – статусу не теоретичного, а як самостійного елемента дієвої реальної системи [2, с. 23]. Заслуговує на увагу думка О. Рубанець про обумовленість в умовах інформаційного суспільства суспільної свідомості продуктами технологій більшою мірою, аніж навпаки [2, с. 23]. У когнітивних процесах принципово змінюється відношення теоретичного і практичного з переважанням першого. Більше того, різним соціальним явищам характерна не онтологічна специфіка, а когнітивний тип завдання, визначений теорією [2, с. 34–35]. Тим часом автор приділяє більшу увагу проблемі використання й перетворення інформації, ніж особливостям її одержання, визнаючи, що основною проблемою роботи з інформацією є відсутність відповідного знання [2, с. 24].

Беручи до уваги пошук нових підходів до проблеми, об'єктом цієї статті є

Раздіна О.В. **ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ
СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА
ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН**

сукупність деяких гносеологічних особливостей одержання соціополітичного знання. Мета розвідки – виявити загальні гносеологічні особливості одержання соціополітичного знання, урахувавши специфіку суб'єкта пізнання політичних відносин. Завданнями дослідження є: 1) визначити специфіку соціополітичного пізнання як необхідної частини загальної системи пізнання, 2) з'ясувати особливості соціополітичного пізнання, обумовлені специфікою об'єкта й обумовлені специфікою суб'єкта, 3) виявити аспекти соціополітичного пізнання, 4) проаналізувати роль знання в політичному житті суспільства, 5) з'ясувати специфіку науки й ідеології як засобів освоєння реальності та як ресурсів влади, 6) визначити прояви специфіки статусу суб'єкта пізнання в розвитку суспільства за переваги авторитарних і демократичних елементів політичних режимів.

Для опису й пояснення процесів пізнання у філософії та науці існують дві конфронтуючі одна одній тенденції. Першою, яку запропонувала біологічна парадигма, є інатуралістична (К. Лоренц, Д. Кемпбелл, Р. Рідль). Друга, культурно-історична, заснована на психологічній, антропологічній, соціальній, історичній і культурній парадигмах (Л. С. Виготський, Р. С. Лурія) [3, с. 52].

Предметом дослідження натуралістичної теорії є філогенетично обумовлений у розвитку людський організм. В її основі лежить теорія природного добору, що припускає визнання структур сприйняття й безпосереднього досвіду уродженими пізнавальними здібностями, що розвиваються відповідно до принципу «родоісторичного примусу в розвитку» (і в хронологічних рамках його дії). Розвиток когнітивних структур відбувається, таким чином, практично незалежно від зовнішніх умов, генетичний апарат пристосовується до «в собі суцього».

Предметом дослідження культурно-історичної теорії є спільність, що за допомогою почуттєвого сприйняття відображає відношення до речей, заснованих на їхньому придбанні в процесі діяльності. (Ця теорія близька до марксизму.) Свідомість виступає як інструмент перетворення предметної діяльності у внутрішню діяльність (у психічні процеси) завдяки розвитку когнітивних здібностей колективу – відбувається втілення родового досвіду. Привласнюючи колективні здібності інших людей, індивід формує власні здібності [3, с. 56–57]. Поза соціальним оточенням програми пізнавального розвитку втрачають силу. Тому мислення людей, які різною мірою мають справу із соціокультурними перетвореннями, не однаково – не однаково логічне з погляду редукування предметних форм у когнітивну структуру. Типи мислення відповідають не просто окремим культурам, але і видам діяльності, оскільки будь-яка група має справу не з природою, а з життєвим ареалом, відношення до якого опосередковане й у знаряддях, і структурою суспільства. Гаптичні засоби вносяться у світ, а не існують в готовому вигляді. Це основна розбіжність між культурною і біологічною еволюціями.

Підходом, що узагальнює вищезгадані теорії, є «еволюційна епістемологія» (Д. Кемпбелл, Г. Фоллмер). Він є філогенетичним напрямом у теорії пізнання. У його основі лежить уявлення про біологічну обумовленість суб'єктивних пізнавальних структур. При цьому біологічний організм розглядають як продукт природного

розвитку. Людина наділена уродженою схильністю до каузальної інтерпретації, необхідними уявленнями про причинність. Когнітивні новації з'являються в боротьбі за виживання – людина пристосовує себе до зовнішніх умов. Каузальність – обов'язкова спрямованість когнітивної еволюції. «Еволюційна епістемологія» доводить неспроможність редукціонізму, оскільки безупинний еволюційний процес є фікція у вигляді абсолютизації тільки статечних розходжень прикмет матеріального світу.

Якщо натуралістична традиція здебільшого заперечує залежність пізнання від матеріальних і соціально-політичних умов унаслідок обмеження предметного поля дослідження біологічними явищами, то останні дві вважають зовнішні умови стосовно пізнання явищ основою когнітивних процесів. Пізнання предметів і явищ вони розуміють як «остаточне звільнення когнітивності від конфігуративного (конвенційного за результатами) співположення елементів презентованої інформації» [3, с. 65].

Соціополітичне пізнання, як і пізнання загалом, передбачає, перш за все, визнання об'єктивності об'єкта дослідження та відображення його у свідомості [4, с. 168]. Пізнання базується на адекватності відображення суб'єктом процесів та явищ, що виражене в пошуку та отриманні можливостей розкрити іманентну логіку явищ, що їх пізнають, та закономірностей розвитку. Соціополітичне пізнання, будучи необхідною органічною частиною системи пізнання, наділене певними особливостями, пов'язаними зі специфікою як об'єкта, так і суб'єкта.

До особливостей пізнання, що їх обумовлює специфіка об'єкта, віднесемо те, що:

- діяльність суспільства та його елементів різного рівня є здебільшого свідомою, тобто містить значну за мірою впливу емоційну складову як фактор дезорганізації та хаотичності розвитку;

- соціальна система змінюється швидше, ніж система пізнання, – часто не можливо повторити спостереження та експеримент для підтвердження гіпотези, а знання швидко застаріває;

- суспільні відносини проявляються на макро- та мікрорівнях, які настільки переплетені між собою, що відокремити їх можливо лише в абстракції, на рівні філософського знання, яке є, безумовно, адекватним, не виступає конкретним знанням конкретного предмета, тому його не можливо ототожнити з безпосередньою дійсністю;

- соціальне відображення має не тільки безпосередній, але й опосередкований характер – набір певних явищ, які безпосередньо не стосуються об'єкта досліджень, але які неможливо ігнорувати через вплив того чи іншого ступеня на об'єкт;

До особливостей пізнання, пов'язаних зі специфікою суб'єкта, можемо віднести таке:

- соціополітичне пізнання не має об'єкта, який би за своєю сутністю вступав у протиріччя з суб'єктом, – як суб'єктом, так і об'єктом є суспільство, тобто розмежування суб'єкта та об'єкта залежить від соціальних та інших умов пізнання та можливостей суб'єкта регулювати й контролювати процеси отримання та використання знання;

Раздіна О.В. **ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ
СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА
ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН**

- суб'єкт соціополітичного пізнання не може поставити об'єкт в умови підпорядкування задачам дослідження (що стає можливим, наприклад, під час здійснення фізичного дослідження) та абсолютної «відвертості» інформації;

- соціополітичне пізнання пов'язане з усвідомленням потреби – спрямування пізнання предметного світу залежить від системи пріоритетів (у тому числі – аксіологічних), які обрало конкретне суспільство, при цьому характер стосунків суб'єкта пізнання та суб'єкта влади можуть бути різними (байдужість, співробітництво, конфронтація);

- соціополітичне пізнання можна здійснювати через певні опосередковані складові – знання та інші культурні ресурси змінюються під час передавання від одного покоління до іншого, і кожна генерація використовує тільки актуальні для конкретних історичних умов елементи пізнання, керуючись у виборі напрямків дослідження критерієм необхідності з точки зору потреб та доступності, з позицій теоретичних та емпіричних можливостей пізнання;

- предмет дослідження одночасно належить і минулому, і сьогоденню, тому суб'єкт соціополітичного пізнання «перекладає» його буття в систему сучасних понять та мовних засобів, реконструює дійсність, що може призвести до викривлення реальних рис об'єкта або ж носити відверто спекулятивний характер [4, с. 168–171].

У пізнанні соціополітичних явищ можна виділити три аспекти:

- онтологічний – передбачає визнання соціополітичного явища як елемента об'єктивної дійсності, пов'язаного зі складовими соціальної системи різного рівня, встановлення іманентного зв'язку між елементами й логіки розвитку системи, визначення місця конкретного соціополітичного явища в соціальній системі, параметрів та характеру його впливу на розвиток суспільства та його структурних одиниць;

- аксіологічний – пов'язаний з оцінкою соціополітичного явища з точки зору системи цінностей конкретного суспільства, його ставлення до завдань, засобів та результатів діяльності;

- гносеологічний – передбачає аналіз соціополітичних явищ з точки зору пізнавальних функцій, тобто вибір схем, архетипів, принципів інтелекту, які зроблять процес пізнання цілісним, таким, що охоплює структурно подібні, хоч і автономні, гносеологічно ізоморфні знання [5, с. 7].

Пізнання загалом та пізнання суспільства зокрема передбачає засвоєння реального світу за допомогою фіксованих вимог до форм отримання продуктів духовної творчості, вищим серед яких є знання та його кінцевий продукт – істина. Однак соціополітичне знання досить часто має, як зазначалося, умовний характер, являє собою варіант знання, яке «запізнюється», яке не завжди може стати основою наукової теорії в завершеному вигляді. Але це не заперечує адекватності та об'єктивності соціополітичного знання в принципі [6, с. 63], оскільки не виключає можливості дотримання чітких наукових вимог до його отримання – допуск в науку виключно всебічно апробованих, вивірених, таких, що пройшли експертизу, одиниць пізнання [5, с. 6]. Поліморфічність науки є стандартним гносеологічним явищем, яке

пов'язане з неоднозначністю викривлення істини, оскільки істина – це процес, отожд як завершена, остаточно визначена у всіх частинах складова суб'єкта пізнання не існує [5, с. 11].

Щодо особливостей знання як фактора розвитку суспільства, то ми уявляємо їх таким чином:

- знання є основою існування суспільства як фактор управління соціальними процесами та інструмент вираження інтересів: група, яка виражає життєво важливі для суб'єктів соціальної структури рішення, включає тих, хто наділений спеціальними знаннями, здібностями, має досвід групового прийняття рішень;

- результати використання знань надають можливість звернутися до різноманітних засобів задоволення потреб суспільства, керуючись принципом відповідності завданням управління: знання має кумулятивний характер, тобто одного разу відкриті наукові ідеї накопичуються, доповнюючи одна одну;

- знання є інструментом захисту суспільства або його частини: якщо суб'єкт соціальних стосунків володіє знанням, це є достатньою умовою для визначення завдань та засобів діяльності.

Але, як зазначалось вище, в соціополітичному пізнанні важливу роль відіграють адекватність усвідомлення потреби та закладена в цьому можливість викривлення дійсності в процесі її відображення й підміни достовірного знання обґрунтуванням приватного інтересу. Методом чуттєвого засвоєння істини та визнання її за умов недостатнього об'єктивного й суб'єктивного обґрунтування є ідеологія [5; 3, с. 5]. Вона близька до віри з точки зору примату ідей над реальністю, але ворожа для останньої як вид перетвореного відображення дійсності, який не жорстко дотримується правил відповідності змісту (вільне поводження з фактами, підміна місцями причин та наслідків, апеляція до цінностей та переконань в обґрунтуванні переконань тощо). Ідеологія може бути як самодостатнім способом відображення дійсності, так і певною проміжною ланкою пізнання (ідеологія відображає рівень уявлення, що йде попереду абстрактного мислення як етап освоєння людиною дійсності), який можна подолати як універсальний кодекс наперед визнаних істин, якщо суб'єкт пізнання отримав наукові інструменти звернення до інформації та знань.

Практика соціального пізнання тісно пов'язана з проблемою особливостей отримання соціополітичного знання та статусу самого суб'єкту пізнання. Процес соціального пізнання відображає характер суспільних відносин, які визначають місце людини в їх системі. Тому онтологічний та гносеологічний статус суб'єкта пізнання залежить від принципів, уявлень та знань (головним чином, соціальних), на основі яких формується, структурується і функціонує суспільство. Метод взаємодії елементів вертикальної та горизонтальної структури суспільства на рівні політичної влади втілюється в політичному режимі, який визначає умови отримання й використання інформації, духовні орієнтири суспільства (ставлення до прав людини, рівності, свободи).

Від характеру влади, політичного режиму залежить не тільки використання певних знань, але й існування культури та її носіїв, тобто можливість функціонування невитребуваного владою знання (або вигідного їй). Оскільки знання не може бути

Раздіна О.В. **ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ
СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА
ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН**

позиційним, суб'єктивно орієнтованим, факт того, що влада «відбирає» знання, свідчить або про підміну його сурогатом, або ж про створення з метою маніпуляції масовою свідомістю пропагандистських штампів, або про встановлення політичної цензури, або ж про застосування всіх зазначених дій. У будь-якому разі, відбувається розподіл на науку – об'єктивне, незалежне від інтересів дослідження реальності, що спирається на універсальну категоризацію явищ, – та пропаганду як метод нав'язування суспільній свідомості ідеологем і надання процесам інформаційного обміну тенденційності та вибірковості. Таким чином, зміна онтологічного статусу суб'єкта (за кількісними та якісними ознаками) обов'язково позначається на гносеологічних умовах отримання знання: все більшого значення набувають гносеологічні фактори викривлення результатів пізнання (неможливість звернення до необхідних фактів, засобів та прийомів доказів, залежність результатів пізнання від політичних установок та цензури та ін.). Для будь-якої людини незалежно від умов і характеру розвитку суспільства та політичної позиції проблема суб'єкта пізнання та суб'єкта діяльності набуває конкретного сенсу як ситуація вибору: соціальної доктрини, соціальної ідеології, форм політичної боротьби та впливу на інститути публічної влади, певного соціального проекту [7, с. 22]. Урешті-решт, від методів, засобів і завдань політичної реалізації соціального ідеалу, яке прийняло та визнало суспільство, залежить його доля як суб'єкта пізнання і як суб'єкта діяльності, способи формування владних інститутів та відношення між елементами соціальної структури щодо завоювання й використання влади.

Загальним для процесу пізнання в різних політичних режимах є, по-перше, наявність певної пізнавальної ситуації та суб'єкта, який ухвалює владні рішення, що стосуються кожного члена суспільства, всієї системи стосунків у середині соціуму та за його межами. При цьому пізнавальна ситуація розвивається з урахуванням основ прийняття та здійснення того чи іншого рішення, допустимого ступеня реалізації інтересів та цілей і можливостей впливу на процес прийняття рішень. По-друге, незалежно від характеру суспільних відносин існує невідповідність між суб'єктом пізнання та суб'єктом політичної діяльності внаслідок історично неминучого відчуження суспільства від інститутів публічної влади. Їх спорідненість та збіг, який здається ідеальним, насправді містить дві небезпеки, як свідчить практика політичних режимів, що тяжіють до домінування авторитарних елементів.

Перша – ігнорування відмінностей між управлінською та пізнавальною діяльністю. Друга – встановлення монополії на політичне знання та вилучення значної частини суспільства із суб'єктів соціополітичного пізнання внаслідок неминучого встановлення заборон на інформацію та закриття доступу до культурного ресурсу. Інформаційний вакуум прирікає суспільство на невідповідність до змістовного розгляду суспільних проблем та оцінення своїх істинних інтересів. Перерозподіл ролей між суб'єктами політичної діяльності апріорі здійснюється за такою схемою: суб'єктом власне діяльності є клас, нація (соціальна база ідеологічної доктрини), роль суб'єкта, який пізнає та знає, відведено керівній політичній силі, що виступає як суб'єкт влади та управління. Тобто збіг суб'єктів пізнання та управління

виводить із процесу діяльності (яка може бути тільки свідомою із настановою на послідовну відповідність засобів меті) самого суб'єкта перетворення політичної діяльності. Таким чином, суб'єкт влади та пізнання в одній особі бере на себе керівництво двома найважливішими для розвитку системи процесами – зміни обставин (характеру суспільних та економічних стосунків, інститутів влади та ін.) та самозміни суспільства (доведення суб'єкта діяльності до стану спроможності здійснення історичної місії та окремих завдань). У результаті єдино можливий суб'єкт змін не в змозі їх здійснити [7, с. 24], перетворюючись на інструмент діяльності суб'єкта влади та втрачаючи можливість протиставити їй власну волю (через відсутність факторів формування волі та маргіналізації соціальних груп).

Практика політичного спілкування при цьому може зводитись до маніпулятивної пропаганди – використання способів та прийомів формування у суспільній свідомості бажаних для влади оцінок, установок, уявлень та мотивів дій (діяльність розуміють як «межі буття» свідомості). Основним мотивом пізнання є не соціальне, а державне або «партійне» замовлення [7, с. 26]. У цій ситуації ідеологія виступає основною формою засвоєння реальності та практично єдиною формою пізнання істини.

Для демократичних режимів апріорним пріоритетом є проблема легітимності влади, тому необхідність плюралізації політичних інтересів пов'язана зі збільшенням кількості суб'єктів, зацікавлених у пізнанні соціополітичних стосунків з метою управління ними. Система влади та управління, вибудована на паралельних зв'язках, що діють «знизу догори», взаємодії індивідуальних та колективних завдань передбачає заміну панівної думки на принцип змагальності інтересів соціальних груп та політичних сил, які їх уособлюють [8, с. 13]. Диференціація суспільства за умов демократії здійснюється за власне політичною ознакою та передбачає, відповідно, змагальність політичних програм, що апелюють не до результатів пізнання, а до трактування політичних інтересів. Відповідно, вимоги до володіння політичним знанням особистістю суттєво збільшуються. Відбувається зсув дослідницького інтересу з суб'єкта влади на об'єкт та пошук ресурсів, характерних як для суб'єкта, так і для об'єкта. Знання виступає як мета відносно суб'єкта, як засіб відносно процедури формування волі та як актуальна якість відносно об'єкта. При цьому знання, яке використовують і в формі переконання, і в формі примусу, дозволяє уникнути насилля стосовно самої влади. Як пріоритетний ресурс знання визначає розвиток демократії перш за все тому, що будь-яке знання стає соціальним інститутом лише у сфері владних стосунків, тобто будучи затребуваним владою. Однак перетворення системи та процесу пізнання на інструмент політичної влади може призвести до зворотного процесу – зміна комбінації ресурсів влади заради вдосконалення демократії обмежує саму демократію та викривляє результати пізнання на користь положень ідеології.

Таким чином, основним висновком запропонованого аналізу є визнання пізнання (та знання як його вищої форми) невичерпним ресурсом прогресу суспільства. Знання розвивається пропорційно до його використання. Гносеологічні особливості соціополітичного пізнання залежать від онтологічного статусу суб'єкта пізнання політичних відносин. Звільнення суб'єкта пізнання від примусу (у тому числі від

Раздіна О.В. **ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ
СОЦІОПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ – ДО ПИТАННЯ ПРО СПЕЦИФІКУ СУБ'ЄКТА
ПІЗНАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН**

примусу, пов'язаного з обмеженням доступу до культурного ресурсу) передбачає звільнення від нав'язаних уявлень. У цьому разі усвідомлення нових потреб відкриває недостатність наявного знання та усвідомлення необхідності збереження й розвитку спільнот та суспільства загалом. Результатом може бути перехід суб'єктів діяльності від мотивації самозбереження, запобігання та подолання до мотивації волевиявлення й досягнення.

Література:

1. *Петрушенко В.* Онтологія знання: поняття та різновиди когнітивних структур // *Філософська думка*. – 2002. – № 6.
2. *Рубанець О.* Сучасні виміри когнітивного // *Філософська думка*. – 2002. – № 6.
3. *Режабек Е. Я.* Становление мифологического сознания и его когнитивности // *Вопросы философии*. – 2002. – № 1.
4. *Гобозов И. А.* Введение в философию истории. – М., 1993.
5. *Ильин В. В.* Великая конфронтация: идеология и наука. О возможности научной идеологии и идеологичной науки // *Вестник Московского государственного университета. Серия 12: Социально-политические исследования*. – 1992. – № 5.
6. *Политическая наука: предмет и методологические основания*. – Х., 2001.
7. *Зимица Л. А., Сычева И. П.* К вопросу о субъекте познания социальных отношений // *Вестник Московского государственного университета. Серия 12: Социально-политические исследования*. – 1992. – № 2.
8. *Клеменьев Д. С.* Человек в кризисное время // *Вестник Московского государственного университета. Серия 12: Социально-политические исследования*. – 1992. – № 2.
9. *Аронов Р. А., Шемякин В. М.* Логико-гносеологические патологии и амбивалентность физического познания // *Вопросы философии*. – 2002. – № 1.
10. *Киселев И. Ю.* Образ государства в международных отношениях и социальное познание // *Вопросы философии*. – 2002. – № 5.
11. *Рузавин Г. И.* Теория рационального выбора и границы ее применения в социально-гуманитарном познании // *Вопросы философии*. – 2002. – № 5.
12. *Касавин И. Т.* Язык повседневности: между логикой и феноменологией // *Вопросы философии*. – 2002. – № 5.

УДК 130

Сапенько Р.

СУЧАСНІ ВИМІРИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ПРЕСИНГ АМЕРИКАНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ЖИТТЯ

В статтє рассматривается проблема влияния американских ценностей жизни на концепции массовой культуры. Автор опирается на разработки современных польских исследователей.

Ключевые слова: культура, массовая культура, ценность.

The article is dedicated to the problem of the influence of American values of life on the conception of masses culture. The author produces the elaboration of modern Polish investigator.

Key words: culture, masses culture, values.

Польський автор, що виконала ґрунтовну роботу з питань масової культури, соціолог А. Клоськовська зазначає, що в просторі соціалістичної культури феномен масової культури був чужим явищем. У свою чергу в цій роботі не тільки критично проаналізовано, але також вказано на позитивні аспекти популярної культури [3]. У підході до проблем масової культури автор розрізняє дві течії. Перша пов'язана з деградацією позицій інтелектуальних еліт і, отже, з утратою їх домінуючої ролі в суспільному житті. Це була настанова ультрамодерну. Цією проблемою займався, зокрема, М. Фуко, використовуючи категорію «знання-влада». Дійсно, масова культура створила новий тип дискурсу, який нівелював існуючий дотепер устрій духовного життя суспільства [4, с. 89–121]. Що стосується другої течії, то вона концентрується на критиці масової аудиторії. Її основною передумовою було переконання, що масові захоплення і смаки знижують загальний рівень культури. Те, що твори художньої творчості стають товаром, призводить до того, що основним критерієм їхньої якості є попит і підкорення вимогам ринку та законам діяльності продюсерів [3, с. 223]. Звідси основні якості комерційного підходу: трактування мистецтва як засобу отримання прибутку й підкорення поганим смакам публіки. На думку Клоськовської, класичним прикладом масової культури є американська культура. Тому ознаки появи масової культури ідентифікуються з американізацією, а не з демократизацією і процесами цивілізації. Американську культуру сприймають як імперіалістичну, експансивну, не враховуючи того факту, що в США раніше, ніж в інших країнах, відбулася кристалізація основних політичних і культурних передумов масового суспільства. Тут культура швидше, ніж де-небудь, потрапила до сфери уваги капіталістичного ринку.

Підтвердженням сказаного можуть бути слова сучасного соціолога про міфотехнології в сучасній мас-медіальній культурі: «У сучасній літературі „міфологічне” часто стає синонімом помилкового, ілюзорного і тільки. Хотілося б підкреслити, що міф – це особливий спосіб, яким мислиться життя, що не існує разом з іншими, а витискує всі інші – і, в першу чергу, раціональний спосіб як з ним

несумісний» [12, с. 120]. З цього виходить, що сьогодні необхідно відректися від соціально-стратифікаційного підходу до проблеми культури, який розчленовував її на елітарну і масову, розглядаючи, у зв'язку з цим, опозицію раціонально-елітарної і емоційно-масової (міфічної) свідомості [12, с. 7].

Американські роздуми стосовно культури здебільшого спираються на розширення розважальних функцій масової культури. Це призводить до гіпертрофії розваг. Розширення розважальної функції призводить обмежує інші функції – інформаційну та просвітницьку (виховну), які раніше вважали основними. Інформація, заснована на розвазі, по завершенні певного відрізка часу сама стає розвагою. Ніл Постман говорить про це так: «Розвага є надідеологією всього дискурсу телебачення. Незалежно від того, що і з якої точки зору представлено – згідно з наперед обраним принципом – воно повинне служити розвазі й приносити задоволення. Власне тому навіть в інформаційних передачах (news shows), які щодня надають нам картини трагедій і жорстокості, провідні канали настирливо запрошують нас на завтрашній випуск» [7, с. 130]. Саме тому відносно сучасних мас-медіа, перш за все телебачення та преси, спостерігаємо посилення цієї тенденції. Інформаційні програми скрізь на перше місце ставлять те, що є наріжним каменем розваги, – сенсацію. Можна запитати, яке життєве та інформаційне значення має для жителя Білої Церкви те, що в авіакатастрофі на півдні Китаю загинуло двадцять осіб, – а, як відомо, це повідомлення напевно стоїть на першому місці інформаційних випусків телебачення та преси.

Основним атрибутом масової культури Клоьковська вважає стандартизацію. У чому полягає стандартизація? Вона полягає в редукуванні всіх культурних сюжетів (матеріалів) до декількох основних сюжетних мотивів, які згодом можна піддати процесам «промислової обробки», що стандартизує ці теми ще більше. Основними сюжетними мотивами, одержуваними таким чином, є гумористичний, драматичний, сексуально-романтичний, сентиментальний, особистий. Найфундаментальнішою є драматична тема. Важко дорікати в цьому масовій культурі, оскільки драматична конструкція є одвічним стрижнем культури і мистецтва, отже, це швидше ознака її гідності. Справа, проте, в тому, що масова культура перебільшує один з елементів драматичного. Йдеться, перш за все, про гіпертрофію насильства. Наступна сюжетна тема цієї культури, на думку Клоьковської, це все, що пов'язане з відносинами чоловіка й жінки. Її представляють у двох варіантах – сексуальному й сентиментальному. У зв'язку з тим, що з самого початку існування масової культури жіноча публіка складала значний відсоток, популярність цього сюжету росте і примножується дотепер [3, с. 302–302]. Але Клоьковська не враховує, що саме «вільний доступ» до літератури, призначеної для жіночої аудиторії, був першим кроком процесу емансипації. Не можна забувати, що в традиційних суспільних структурах жінкам відводилося найнижче суспільне положення.

На жаль, у більшості своїй творам цієї культури характерні стереотипізація сюжетів і персонажів, оперування стилістичними штампами, анонімність виробництва та шаблонні ідеї. Сентиментальна тема обертається навколо еротики, щасливого кохання. Але найважливіше, що врешті-решт постульовано пасивність,

підкорення долі з одночасним проголошенням достоїнств сімейного життя [3, с. 305]. Звичайно, це – домінуючий напрям у масовій культурі, але, з другого боку, з'являються й інші течії. Символізує це, наприклад, фільм 2001 року «Щоденник Бріджіт Джонс», де показано зовсім інший зразок жіночого стилю життя та системи цінностей. Тут чітко доведено, що «звичайна (пересічна)» людина-жінка може затвердити якості власної індивідуальності й що саме це є для неї єдиним шансом.

Парадоксально те, що масова культура, хоча й підкоряється процесам стандартизації, не може дозволити собі відірваності від життя. Якби так відбулося, на неї не відгукувалися б споживачі і, отже, не розширилося б коло її любителів. «Масова культура відгукується на справжні, стабільні й реальні загальні інтереси та установки, і в цьому плані вона не відрізняється від грандіозних художніх діянь... Масова культура значною мірою складається не з творів, що є результатом справжньої художньої і наукової творчості, але з ремісничого виробництва, що відтворює загальноновизнані правила» [3, с. 311]. Клоськовська забуває, що дотепер авторами творів мистецтва були представники еліти. Це добре пояснює також, чому масова аудиторія звернулася до персонажів, які руйнували цю суспільну структуру і ставали новими соціально-особистісними зразками.

Загалом, можна сказати, що сферою зацікавленості масової культури є речі (сюжети), «добре відомі» будь-якій людині: сім'я, проблема почуттів, міжособистісні відносини, професія і кар'єра, відносини на роботі, життя в неформальних угрупованнях, локальній спільноті і т.п. Усю цю сферу сюжетів, услід за продюсерами, Клоськовська позначає терміном *human interest*. Але очевидно, що цей термін означає сукупність зацікавленості людини в широкому духовному значенні – він означає сукупності екзистенційного змісту людської свідомості. Немає іншої духовної області, яка могла б так само викликати подібну зацікавленість.

Комплекс людських інтересів (*human interest*) не можна було б реалізувати для такої різноманітної публіки без застосування каталізатора сюжетів, яким є особистий чинник. Перспектива особистого підходу сприяє тому, що глядачі відчувають близькість й ідентифікують себе з персонажами, навіть якщо вони є наскрізь публічними. Усе робиться так, щоб «комплекс людських інтересів» подавався дійсно гуманно. У зв'язку з цим можна сказати, що він (комплекс) є стабільним, позитивним атрибутом масової культури. В сучасному телебаченні особистий чинник виражено, наприклад, у прямих трансляціях (*reality shows*). Звичайно, можна знайти в цих програмах дуже багато збочень, пов'язаних з «людськими комплексами», але ми хочемо лише відзначити передумови цих передач [5]. Їх початковим пунктом є представлення реальних людей «такими, які вони є», без якої-небудь обробки і прикрас (що, звичайно, для сучасних телевізійних технологій не є до кінця можливим).

Отже, виявляється, що масова культура є зовсім не антигуманитарною і що, хоча ця гуманність дуже поверхнева, вона наявна і, здається, відповідає духовному рівню її споживачів. Причини такого стану слід шукати в зовнішніх обставинах, незалежних ані від культури, ані від її споживачів. Клоськовська пише про це непрямо: «Цей гуманізм масової культури, без сумніву, є мізерним за змістом, грубим за формою,

банальним за зацікавленістю, дуже часто є жорстоким і настирливим втручанням у приватне життя... Проте сюжети масової культури, підлеглі принципу зацікавленості людськими справами, виконують значну роль у передаванні зразків, встановленні загальних етичних цінностей, інтенсифікації суспільної інтеграції» [3, с. 309].

Отже, хіба можна звинувачувати масову культуру в навмисній деморалізації споживачів. Загальні докори зводяться до питання низького художнього рівня, банальності та наївності. Враховуючи, проте, вищесказане, не можна з ними погодитися. Ті, хто висувають ці звинувачення, не звертають уваги на реальні інтелектуальні можливості потенційної публіки відносно творів вищого рівня. Хто в змозі бути споживачем мистецтва вищої якості? Усім відомо, що рівень сімдесяти відсотків шкільної молоді нижчий за освітні стандарти, а виховний процес не спрямований на те, щоб пристосувати їх розум до уміння переробляти інтелектуальний зміст. У результаті виходять зрілі люди, які навіть не підозрюють, що вони в змозі самостійно мислити, – а без цього немає справжнього сприйняття мистецтва.

Іншими рисами масової культури, що дискредитують її в очах критиків, є проста мова і форма безпосереднього звернення до публіки, яка перероджується у фамільярність. Загальновідомий факт, що деякі редколегії приймають на роботу «редактора» з початковою освітою для того, щоб він виступав як «перший читач» і щоб гарантував доступ до молодого покоління [6]. Робиться це з метою, щоб тексти стали простими, позбавленими важких понять і інтелектуальних ускладнень. На фабриці кіно, Голлівуді, перш ніж випустити фільм на екрани, розкручують грандіозні маркетингові опитування глядачів, щоб дізнатися про смаки глядачів. Так, наприклад, говорить про це Роман Поланські: «Кінотовар, який створюють американські гіганти, – це результат ґрунтовних маркетингових досліджень: опитують безліч людей, щоб дізнатися, що їм подобається. Попит народжує пропозицію. Долю кінематографа ХХІ століття вирішує вулиця». Це свідчить про тенденцію наближення до рівня глядача і читача. Але, з другого боку, важко тут не помітити і позитивний аспект. Можливо, хоча і в спрощеній формі (це стосується мас-медіа), але все одно споживач дізнається дещо про навколишній світ, може, це є перший поштовх у перетворенні його свідомості.

Наступною ознакою масової культури, безпосередньо пов'язаною з вищесказаним, є її візуальність. У зіткненні з візуальним способом функціонування, у якому понад усім домінує образ, інтелектуальне знання вже не вважається пріоритетним. Відповідно зростає тираж публікацій на зразок коміксів та інших видань, у яких велику увагу приділено образу. Зникає, таким чином, суспільна роль експерта й інтелектуала, оцінити може людина вулиці. На думку Клоськовської, це свідчить про процес дезіндивідуалізації та універсалізацію культури [3, с. 314–315]. Але, ще раз посилаючись на Мішеля Фуко, цей феномен можна пояснити зовсім по-іншому. Маса тому так охоче відкидають роль експерта й наукового розуму (інтелекту), що в існуючій дотепер культурі вони були представниками структури «знання-влада». Тому в нових культурних і політичних умовах ніхто не приймає їх знань (ідеологій) і прийнятними вважають антизнання у формі різноманітних знань –

локальних та індивідуальних. Через це не виправданою також є теза про дезіндивідуалізацію, оскільки внаслідок вищезазначених процесів культура потрапить у стан тотальної індивідуалізації. Важливим і ціннісним вважається знання, співвіднесене із суб'єктивними відчуттями і переживаннями.

Якщо до масової культури застосовувати категорії, уживані дотепер щодо сфер культури, то тут також ми можемо виокремити такі ланки відносин: художник, публіка і критика. Але відмінність масової культури полягає в тому, що критик перестав виконувати ту роль, яку він виконував у сфері «досучасного» мистецтва, – тут він постає як агент аудиторії. Критика вже розглядає не доіманентні властивості твору, але ознаки його сприйняття. Отже, полеміка стосується не того, хто має рацію щодо твору (як було раніше), але хто має рацію стосовно аудиторії. Клосььковська вважає, що сьогодні вирішальний голос належить менеджерам і продюсерам, які охоче, замаскувавши економічну зацікавленість, користуються гаслами демократії [3, с. 317]. Здається, проте, що на початку ХХІ століття обставини змінилися, і публіка звільнилася від усіх, хто думав, що нею володіє. Саме тому проводять постійні дослідження глядацької аудиторії, і сьогодні вона виявляється відносно незалежною силою. Продюсери не можуть, згідно зі своїми уподобаннями, повністю маніпулювати публікою, бо якщо не вони, то їх конкуренти в змозі надати те, чого вимагає публіка. Отже, політичне або культурне маніпулювання виявляється не до кінця можливим. Утворюється парадоксальна ситуація, адже як продюсерам, так і споживачам (глядачам) масової культури здається, що тільки вони впливають на її формулу, але, по суті, вона розвивається самостійно, зовні суспільного контролю. Вона розвивається, як це говорив Зіммель, за принципом циркуляції і дифузії (розсіювання).

Масова культура дуже часто звертається до творів «високої» культури, оскільки в конкурентній боротьбі за клієнта велике значення має марка продукту. А твори високої культури характеризуються саме такою загальноприйнятою маркою. Але, наприклад, для американського теоретика Ван ден Гага, який цю тенденцію помітив давно, це не що інше, як спотворення традиційної культури. Коли масова культура звертається до досягнень минулого, то робиться це у формі екстрактів, зовні культурного контексту. Тоді споживач відчуває себе так, ніби Софокл, Шекспір і Толстой живуть в одному з ним часі та «є під рукою» споживача. Але, як говорить Ван ден Гаг, мистецтво звертається до певних ідей, а тут вони зникають [9, с. 54]. З другого боку, якщо має рацію Зіммель, теорію якого ми розглядали спочатку, то єство культури (щодо циркуляції) саме таке: всі художники, хоча їх розділяють тисячоліття, ніби дивляться в очі один одному. Тут Клосььковська має рацію, коли відзначає, що важко говорити про абсолютну прірву між обома культурами: оскільки масова культура функціонує згідно із середнім рівнем, то вона користується багатоманітними засобами й артефактами різних культур різних рівнів [3, с. 319].

Разом зі стандартизацією, Клосььковська важливою причиною всього негативного в масовій культурі вважає гомогенізацію. Вона полягає в створенні однорідної культурної суміші, що складається з елементів, які за традиційних обставин ніколи не могли б об'єднатися. Отже, унаслідок цього процесу змішуються культура висока і

низька. Мірою розділення цих культур є інституційний аспект (формально-установчий). Висока культура пов'язана з академіями, університетами, театрами, філармоніями, музеями і спеціальною пресою. На жаль, цей критерій призводить до еkleктизму. Діяльність й оцінка цих інституцій (установ) спирається на стабільні критерії «високої культури», звичайно з урахуванням історичних і суспільних обставин [3, с. 331]. Загалом можна сказати, що гомогенізація культури є результатом включення до сфери цієї культури елементів культури вищого рівня і з'єднання їх, змішування і зіставлення з елементами культури більш низького рівня.

Клоськовська розуміє цей процес двосторонньо: як процес об'єктивний і як суб'єктивне явище. Перший пов'язаний зі змістом поширюваних через мас-медіа повідомлень, безвідносно до способів їх сприйняття. У цьому разі гомогенізація має три значення: як гомогенізація спрощення, гомогенізація іманентна й гомогенізація механічна (за допомогою зіставлення).

Що стосується суб'єктивних аспектів гомогенізації, то вони виявляються найважчими для дослідження. Неможливість переконливої розробки цієї площини викликає тенденційне перебільшення негативних сторін гомогенізації, пов'язаних з об'єктивним її виразом. Суб'єктивні аспекти намагалися розробити семіотичні теорії, але їх результати дотепер викликають нарікання в недостатньому перекладі об'єктивною мовою сучасного гуманітарного знання [11]. Процес гомогенізації спрощення полягає в тому, щоб піддати твори високої культури таким переробкам, унаслідок яких вони стануть більш зручними в сприйнятті. Але одночасно цей процес впливає на твір так, що він стає поверхневим, втрачає духовну глибину. Гомогенізація спрощення можлива лише у сфері символічної культури, тобто стосовно до естетичних якостей, але вона неможлива у сфері науки, бо, по-перше, поверхнева наука перестає бути наукою і, по-друге, наукові дослідження стають сьогодні все більш езотеричними [3, с. 336]. У свою чергу масова культура дуже рідко серйозно ставиться до науки; домінуючим моментом є тут розвага, і, отже, процес гомогенізації відбувається в естетичному просторі. Іноді він набуває форми плагіату або травестії (переробки). Негативні наслідки такої символічної діяльності полягають в тому, що вона гальмує процес виховання справжніх естетичних почуттів і потреб, оскільки наближає до мистецтва в банальній і симульованій формі. Але не можна забувати, що для багатьох людей (а можливо, для більшості) ця форма є єдиною формою дотику до естетичного, і не доведено, що вона не може стимулювати зацікавленості мистецтвом.

Наступний тип – це гомогенізація іманентна (внутрішня). Вона радикально відрізняється від попередньої. Її значення полягає в тому, щоб до структури видатного твору включити елементи, здатні привернути увагу широкої публіки. Такими якостями характеризується поп-арт Енді Уорхола, а сьогодні – творчість Джефа Кунса. В художній творчості вони користуються атрибутами масової культури: тривіальність, *voyeurism*, змішування стилів та ін. На думку Клоськовської, такий тип гомогенізації можна розглядати як суперечність *contradictio in adiecto*, на зразок «батька без дітей»; створення витворів мистецтва, що поєднують елементи мистецтва високого і низького, а це не є можливим. Правда, коли дослідниця писала свою книгу (1978 р.), не була ще до кінця затверджена позиція

Енді Уорхола, а Кунс узагалі не був відомий. Сьогодні ми знаємо, що саме в мистецтві кіно відбулося такого роду злиття; такою творчістю вважаються сьогодні твори Чапліна, хоча свого часу його сприймали виключно як складову розважальної культури.

Третій вид гомогенізації (механічна) виявляється найтипівшим, оскільки він найбільш загальноприйнятий і ґрунтується виключно на природі мас-медіа. Механічна гомогенізація полягає в перенесенні витворів мистецтва у сферу масової культури без порушення їх структури. Це пов'язане з тим, що масова культура (було краще б сказати – мас-медіа) характеризується постійно незадоволеним попитом [3, с. 340]. Промовистим підтвердженням цього є бурхливий розвиток телебачення після трансформації 1989 року в Польщі і в 1990-ті роки в колишніх країнах Радянського Союзу. Зростання кількості телевізійних каналів призвело до того, що вони постійно гоняться за кращими й привабливими передачами. І, як це добре видно, пропозиція не в змозі задовольнити попит – глядачів примушують дивитися одні й ті самі фільми, телевізійні серіали та інші передачі. Крім того, масова культура, що її поставляє мас-медіа, розповсюджується на всі суспільні групи. Вона вимушена запропонувати всім сегментам аудиторії те, чого вона бажає. Таким чином, реалізується безперервна циркуляція культурного змісту.

Причиною цих утруднень є нехтування ролі мас-медіа в утворенні сучасної культури. Річ у тому, що як культура «висока», культури специфічні, так і культура «масова», всі вони існують в просторі мас-медіа. Всі ці феномени – це іманентні аспекти сучасної культури, яка існує в середовищі, просвіченому технологічною, економічною і політичною революцією. Оминання цього призводить до необ'єктивного осмислення феномена масової культури і до нерозуміння її ролі, а також до перебільшення її негативної дії. Критики масової культури багато в чому нагадують зусилля Жан-Жака Руссо, який розглядав демократію як реалізацію загального розуму (загальної волі). Його утопічне суспільство з необхідною неминучістю прямувало в бік тоталітарного устрою [13, с. 247–284]. Критика масової культури опиняється в чомусь схожою, бо формулює проблему духовності з точки зору одного розуму, який вважає, що він вгадав значення загальної волі. Опосередковано підтверджує це і сама Клоєковська, коли говорить, що неможливим було б наповнення річищ масової культури матеріалами високої культури. Це було б діяльністю утопічною й антидемократичною, яка не бере до уваги інтелектуальну підготовку споживачів; ця діяльність ігнорувала б також потреби в розважальних продуктах, на які є попит серед багатьох суспільних шарів [3, с. 345].

Повертаючись до проблеми гомогенізації культури, можна сказати, що механічна гомогенізація – це найблаготворніший і корисний спосіб функціонування масової культури. Але, з другого боку, проблемою є управління процесом відбору і селекції матеріалів з високої культури: виявляється, що переважно – це стихійний процес [3, с. 343]. Це виразно видно на прикладі рекламної творчості, авторів якої, без сумніву, треба визнати частиною масової культури. Художників у сфері області реклами не обмежують ніякі культурні, етичні й політичні бар'єри. Важливим атрибутом механічної гомогенізації є те, що вона не спотворює витвору мистецтва; вона надає

можливості вибору і не диктує, що гірше, а що краще [3, с. 353–354]. Механічна гомогенізація сприяє тому, що частина досягнень високої культури стає доступною широким громадянствам, які ще дотепер не мають нагоди насолоджуватися ними.

Від самого початку функціонування масової культури утворилися два напрями її розповсюдження. Перший полягав в стихійній, нерегламентованій діяльності, що впливає з меркантильних мотивів. Другий утворився на ґрунті суспільних інститутів і сприймав масову культуру в контексті її виховних функцій [3, с. 351]. Подвійна природа цієї культури особливо очевидна на прикладі телебачення. Сьогодні функціонують дві моделі телебачення: палеотелебачення і неотелебачення [1, с. 117–130]. Сучасна масова культура – це перш за все культура телебачення, тому всі її достоїнства і недоліки виявляються тут особливо яскраво. Аналізуючи проблему масової культури, не можна забувати, що вона функціонує в абсолютно нових суспільних умовах. Перш за все, не можна забувати про те, якими є її споживачі, – не для їх засудження, але для виявлення причин, чому вони такі. Може, їх екзистенція є такою мізерною, принизливою й переповненою насильством, як і матеріали культури, що її влаштовують. Отже, тут не йдеться про соціальний статус цієї аудиторії, але про суспільно-політичні передумови соціальної стратифікації. Кількісний аспект, тобто факт, що певна аудиторія в певних суспільно-політичних умовах збільшуватиметься, означає, що останнє позначатиметься на стані сучасної культури. Непрямим чином це підтверджує Клоськовська, коли пише, що стан культури не полягає в тому, що ми стоїмо перед жорстоким витісненням вищої культури з суспільного побуту: «По суті, елементи цієї культури ще ніколи не мали такої широкої межі досяжності, а також ніколи не були так ефективно сплетені з елементами низького рівня» [3, с. 358].

Підсумовуючи вищевикладене, можна сказати, що настирлива критика масової культури не дозволяє об'єктивно досліджувати стан культури, утвореної в абсолютно нових суспільних умовах. Домінік Стрінаті, аналізуючи різні концепції масової культури, говорить, що критики цієї культури ототожнювали негативні явища з американізацією і тому вбачали причини її стану саме в демократизації, зниженні культурних стандартів і впливу мас на уряд. Відповідаючи на ці докори, Стрінаті показує, як світ, представлений в американській кримінальній літературі (1930–1940-і рр.), надав чоловікам з міських робочих кварталів мову і стиль життя, більш реалістичний і відповідний їх статусу. Він виявився більш близьким до умов їх життя та поведінки, ніж стиль, що існував у літературі, написаній для англійського вищого та середнього класу [8, с. 38]. У свою чергу американські фільми представляли героїв і героїнь більш близькими духом робітників, ніж еквівалентні британські фільми. Сила впливу цих фільмів допомагала дітям з робочого класу дивитися на себе як на героїв, а не пасивних глядачів. Таким чином, привласнення американського стилю (дітьми британських робітників), що багато критиків оцінювали як пасивне наслідування кітчевої культури, насправді було чимось абсолютно іншим, тобто цілком усвідомленою поведінкою. Це було заперечення певного суспільного устрою.

Стрінаті доходить висновку, що коли ми спробуємо подивитися на явище масової культури «знизу», з погляду людей, які дійсно її «споживають», то отриманий образ може радикально відрізнятися від того, який відкривається, коли дивимося з

«вищої позиції», з погляду високих естетичних цінностей [8, с. 39]. Традиційний підхід до масової культури відображає ні що інше, як занепокоєння домінуючих еліт щодо втрати символічного і суспільного панування. В той же час можна сказати, що американізація не сприяла посиленню культурної уніфікації і гомогенізації, про які говорили критики масової культури. Зовсім навпаки, відбулося інше – щось подібне до залишку доступних молоді культурних альтернатив, більшість з яких пов'язана з американською культурою. Так відбулося тому, що ця культура (голлівудські фільми, реклама, «упаковка», одяг і музика) пропонує багату іконографію, набір символів, предметів й артефактів, які можуть накопичити й розповсюдити різні групи в необмеженій кількості комбінацій. Надалі значення будь-якого вибору зазнає перетворення в індивідуальних об'єктах. Таким чином, кожен може сам себе проектувати, як це робить мистецтво поп-арту і навіть згаданий тут Дж. Кунс.

Література:

1. *Cassetti F., Odin R.* Od pale – do neo-telewizji. W perspektywie semiopragmatyki // Po kinie. Audiowizualność w epoce przeźniików elektronicznych / Pod red. A. Gwoździa. – Kraków, 1994.
2. *Fiske J.* Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. – Wrocław, 1999.
3. *Kłoskowska A.* Kultura masowa. – Warszawa, 1980.
4. *Lemert Ch. C. Gillan Garth, Michel Foucault.* – Warszawa-Wrocław, 1999.
5. *Niezgoda A.* Obnażanie na ekranie // Polityka. – 2001. – № 2.
6. *Piechota G.* Wydawcy gazet w USA chwytają się brzytwy, by dotrzeć ze swoim produktem do pokolenia MTV // Gazeta Wyborcza. – 2002. – 18.11.
7. *Postman N.* Zabawić się na śmierć. – Warszawa, 2002.
8. *Strinati D.* Wprowadzenie do kultury popularnej. – Poznań, 1998.
9. *Van den Haag E.* Kultura popularna // Super-Ameryka, Szkice o obyczajach i kulturze, Wyboru dokonali W. Górnicki i J. Kossak. – Warszawa, 1970.
10. *Wojciechowski M.* Arabskie telewizje wzorują się na CNN i BBC, ale pokazują inne treści // Gazeta Wyborcza. – 2003. – 04.04.
11. *Барм Р.* Мифология. – М., 1996.
12. *Дубицкая В.* Телевидение. Мифотехнологии в электронных средствах массовой информации. – М., 1998.
13. *Руссо Ж-Ж.* Об общественном договоре, или Принцип политического права // Политические сочинения. Трактаты. – К., 2000.

удк 1:316.3+352/354(477)

Руденко С. О.

СПЕЦИФІКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В статье раскрыто отдельные специфические черты управленческой деятельности в условиях информационного общества. Анализируется функциональный уровень информационной культуры специалиста; организационные требования к управленческим решениям; основные элементы процесса принятия управленческих решений и факторы, ограничивающие возможности по их принятию.

Ключевые слова: управленческие решения, информация, информационная культура, информационное общество.

This article is dedicated to revealing some specific lines of management in informational society. Functional level of informational culture of specialist and organizational demands to management decisions are analyzing. Main elements of the process of confirmation of management decisions and factors that limit possibilities for it acceptance are analyzed.

Key-words: management decisions, information, informational culture, informational society.

Постановка проблеми. Формування фахівців управлінської діяльності відбувається сьогодні в умовах інтенсивної динаміки соціокультурних процесів. Поряд з культурою, яка вибудовується заново, економічних і соціальних відносин і настільки необхідною для нас сьогодні екологічною культурою важливою частиною загальної освіти фахівця стає інформаційна культура. Завдяки стрімкому розвитку комп'ютерних технологій стає реальністю те, що здавалося неймовірним кілька років тому. Люди різних країн мають доступ до найрізноманітнішої інформації в будь-якій точці планети, обмінюються інформацією один з одним і навіть спілкуються в реальному режимі часу. Створюється враження, що законом життя в наш час стає твердження Н.Вінера: «Справді жити – значить жити, маючи правильну інформацію» [1, с. 25].

В умовах зростаючого впливу інформатизації на професійну сферу важливо, щоб фахівець управлінської діяльності досяг певного ступеня досконалості на всіх можливих етапах роботи з інформацією: на етапі її одержання, нагромадження, кодування й перероблення будь-якого виду, на етапі створення на цій основі якісно нової інформації, її передавання, практичного у використанні, на етапі прийняття управлінських рішень. Володіння інформаційною культурою забезпечить фахівцеві високий рівень освіченості, створить міцний фундамент для структурування знань, дасть засоби й методи для розвитку здатності орієнтуватися в швидко мінливому світі, дозволить успішно освоїти будь-яку галузь діяльності, сформує здатність до широкого погляду на питання управлінської діяльності. Безумовно, кожній людині необхідні сьогодні комп'ютерна грамотність і досвід практичного використання персонального комп'ютера.

Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить, що проблему управлінської діяльності осмислювали філософи, починаючи з часів стародавніх цивілізацій. Проблема специфіки управлінської діяльності сьогодні вивчають представники різних дисциплін – фахівці у сфері теорії управління, комп'ютерного аналізу, філософи, психологи, логіки, математики, економісти, юристи, соціологи тощо. Значущі результати в її розгляді представлені в працях О. Амосова, Б. Ананьєва, В. Бакуменка, А. Брушлинського, В. Вагіна, Б. Величковського, А. Дегтяря, Д. Завалишина, Ю. Кликова, М. Корецького, В. Лефевра, В. Лугового, Б. Ломова, Р. Люса, Г. Майерса, В. Мартиненка, Д. Мартіна, О. Моргенштерна, Д. Неймана, Г. Одінцової, Х. Райфа та інших вітчизняних і закордонних авторів. Однак у відомих працях цих дослідників відсутня концепція прийняття управлінських рішень в умовах інформаційного суспільства, яку можна було б покласти в основу наукової розробки основних нормативних документів стосовно цієї сфери проблем. Тому *метою й завданням* нашої статті є виявлення окремих специфічних рис управлінської діяльності в інформаційному суспільстві, що й має, на нашу думку, сприяти створенню означеної вище концепції¹.

Деякі дослідники вважають, що в інформаційній культурі фахівця можна виділити два структурні рівні: змістовний і функціональний [2–4]. Змістовний рівень включає поінформованість людини про явища, що стосуються сфери культури, знання джерел інформації, включення в інформаційно-культурне поле своєї свідомості найбільш значущих ідей, які циркулюють у суспільстві, й, звичайно, професійні знання.

На нашу думку, досить продуктивним у цій царині є розгляд змістовного рівня інформаційної культури фахівця в контексті соціального захисту людини як професіонала й особистості. У зв'язку з цим заслуговує на увагу точка зору російського дослідника С. Антонової, яка вважає, що «розробляючи вимоги до інформаційної культури фахівця, варто органічно пов'язувати обґрунтування професійних знань і вмінь із обґрунтуванням моральних начал життя людини, її здатності виділяти з контексту повсякденності не тільки власне призначення професіонала, але й ставити завдання більш далеке – прожити життя осмислено, бадьоро, гідно» [3, с. 84]. Американський соціолог Д. Янкелович обґрунтовано характеризує справжній період розвитку суспільства як час зростання значення для суб'єкта цінності «самореалізації особистості», причому власне людські цілі беруть гору над речовими, і вперед виходить прагнення людини до самоздійснення [5].

Необхідність реалізації означених завдань створює передумови для посилення гуманітарного аспекту у формуванні інформаційної культури майбутнього фахівця на основі діяльнісного підходу, що враховує специфіку суб'єкта як активного учасника всіх процесів. На думку В. Мінкіної, немає засобів, які формують переконання в тому, що жодне знання не є надійним, що основу надійності дає лише процес пошуку знань, який триває все професійне життя [6, с. 28].

Спроби позначити для фахівців орієнтири на систематичний й усвідомлений

¹ Тема цієї статті безпосередньо пов'язана з дослідженнями в межах комплексних цільових програм НДР, які здійснюють на кафедрі філософії Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

пошук нового знання змушують із усією серйозністю звернутися до проблеми формування функціонального рівня інформаційної культури. Функціональний рівень інформаційної культури фахівця пов'язаний з операціональною спрямованістю особистості. Функціональний рівень включає формування таких умінь, необхідних фахівцеві: уміння одержувати потрібну інформацію, знаходити оптимальні шляхи пошуку джерел інформації; уміння аналізувати джерела, відбирати потрібні; вміння раціонально використовувати отриману інформацію, формулювати свої інформаційні потреби й адекватно визначати інформаційні можливості. Формування цих та інших умінь і навичок скоротить непродуктивні витрати часу, підвищить оперативність, точність і повноту одержання інформації й знань, що значно підвищить якісний рівень підготовки фахівців.

У зв'язку з цим основне значення у формуванні управлінської підготовки фахівця в інформаційному суспільстві мають сучасні інформаційні засоби:

Комп'ютерні навчальні програми, що включають у себе електронні підручники, тренажери, лабораторні практикуми, дистанційні комплекси.

Навчальні системи на базі мультимедійних технологій, побудовані з використанням персональних комп'ютерів, відеотехніки, накопичувачів на CD- та DVD-дисках.

Інтелектуальні системи, використовувані в різних предметних сферах, у тому числі навчальні експертні системи.

Розподілені бази даних по галузях знань.

Важливе місце повинні займати сучасні засоби телекомунікацій, що включають у себе електронну пошту, відеоконференції, локальні й глобальні комп'ютерні мережі, а також електронні бібліотеки, інформаційні освітні портали.

Однак використання нових інформаційних технологій і засобів у навчанні не повинне виключати підготовку фахівців у реальному предметному напрямку. Неприпустима заміна реальних фізичних явищ тільки модельним поданням їх на екрані комп'ютера. Досліджуючи особливості інформаційної діяльності, Д. Матрос, Д. Полев, Н. Мельникова наголошують на тому, що інформаційне середовище стає ефективним, якщо йому притаманна комфортність для споживача інформації, а для цього необхідно створити сприятливі умови для взаємодії інформаційної системи й фахівця [7].

Таким чином, людський фактор входить у систему діяльності як основний компонент забезпечення будь-якого процесу. Вивчення цього фактора прямо пов'язане з обґрунтуванням гуманітарного аспекту інформаційної культури фахівця як на змістовному, так і на функціональному рівнях.

У зв'язку з постійним удосконалюванням техніки й зростанням науково-технічної інформації зростають вимоги до креативних здатностей фахівців, для розвитку яких необхідним є широкий технічний кругозір й технічна фантазія.

Повсюдне поширення комп'ютерних технологій змушує представників багатьох професій освоювати комп'ютер, хоча б на рівні користувача. Для цієї групи професій на перше місце виступають завдання сприйняття й перероблення інформації, її використання для прийняття різних управлінських рішень, їхньої реалізації, перевірки

й прогнозування наслідків.

Сучасний фахівець управлінської діяльності повинен володіти не тільки знаннями зі своєї спеціальності, але й основами керування ресурсами. Організаційно-управлінська діяльність включає організацію роботи в колективі виконавців, прийняття управлінських рішень в умовах різних думок, знаходження компромісу між різними вимогами як в умовах довгострокового, так і короткострокового планування й визначення оптимального рішення. У цьому випадку особливістю управлінської діяльності є взаємодія між людьми, реалізована в спілкуванні й інформаційному обміні. Уміння спілкуватися, домагатися взаєморозуміння в процесі виконання професійних функцій є тут найважливішою умовою високої ефективності праці. Низька сформованість комунікативних якостей перешкоджає оволодіти управлінською культурою.

Важливе місце в управлінській діяльності займають якості, що характеризуються знаннями й уміннями у сфері одержання, передання, зберігання й використання інформації, необхідні фахівцеві для організації роботи в колективі, а також для прийняття оптимальних управлінських рішень, у професійному спілкуванні й для вдосконалювання свого професіоналізму.

Для рішення професійних завдань фахівцеві управлінської діяльності потрібен високий рівень інформаційної культури, який характеризується такими знаннями, уміннями й навичками:

- уміння розраховувати нормативи матеріальних витрат й оцінку ефективності проєктованих заходів і технологічних процесів з урахуванням моральних аспектів діяльності;

- уміння збирати, обробляти, аналізувати й систематизувати науково-технічну інформацію з теми;

- уміння на основі вивчення спеціальної літератури й іншої науково-технічної інформації підготувати інформаційні огляди, рецензії, відгуки;

- уміння консультивати з питань керування кластерами сфер діяльності;

- знання сучасних засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язків;

- знання методів проєктування й досліджень, проведення експериментів;

- знання основ різних суміжних наук;

- усвідомлення необхідності самоосвіти, використовуючи новітні інформаційні технології.

Таким чином, інформаційні процеси є невід'ємною частиною управлінської діяльності фахівця в інформаційному суспільстві.

Оволодіння знаннями, уміннями й навичками, що дозволяють використати інформаційні технології для прийняття управлінських рішень, необхідне фахівцеві для здійснення успішної управлінської діяльності, головним у якій є вміння приймати компетентні управлінські рішення. Процес прийняття управлінських рішень є важливою складовою інформаційної культури фахівця й вимагає, на наш погляд, докладного розгляду.

У статті ми розглянемо управлінське рішення як елемент управління й визначимо його як цілеспрямований вплив на керований об'єкт, здійснюваний для

вирішення виниклої проблеми.

Управлінські рішення характеризуються низкою загальних вимог: цільовий характер, обґрунтованість, своєчасність. Суб'єктом усякого управлінського рішення є особа, що приймає рішення. Це поняття є збірним.

Управлінська праця має певну специфіку. Предметом її є інформація, яку обробляють за допомогою певних засобів і методів. Продукти праці становлять перероблену інформацію у вигляді управлінського рішення. З інформаційної точки зору в процесі ухвалення рішення відбувається зменшення невизначеності. Як свідчать результати аналізу літератури [2–6, 8], процес ухвалення рішення включає багато різних елементів, серед яких більшість дослідників виділяють такі, як постановка проблеми, визначення мети, пошук альтернатив і рішення як вибір альтернативи.

Перша стадія розглянутого процесу полягає у визнанні необхідності рішення й включає такі етапи: визнання проблеми, формулювання проблеми, визначання критеріїв рішення проблеми.

Визнання проблеми є необхідною умовою для її рішення. Інтерпретація проблеми – це визнання значення й визначення тієї проблеми, що визнана. Визначення критеріїв успішного рішення припускає виявлення причини виникнення проблеми, що викликає необхідність збирання, аналізу й систематизування різної внутрішньої й зовнішньої інформації. Збираючи інформацію, важливо навчитися відрізняти релевантну інформацію від інформації, що не стосується цієї проблеми.

Щойно визначено фактори, що обмежують рішення, фахівець управлінської діяльності починає роботу з пошуку альтернатив для рішення проблеми. Однак нерідко виникають нові, унікальні проблеми, рішення яких виходить за звичні, стандартні рамки. У цьому випадку необхідним є творчий підхід. Вибір альтернативи є найбільш відповідальним етапом у процесі ухвалення рішення. Ґрунтовний попередній аналіз дозволяє різко звузити рамки майбутнього вибору.

Остання стадія в прийнятті рішень – це виконання рішення. Ця стадія складається з організації виконання рішення, аналізу й контролю виконання.

Найбільш загальною помилкою фахівців є припущення, що якщо вибір відносно рішення зроблено, то воно обов'язково буде виконане. Організація виконання рішення як етап передбачає координацію зусиль багатьох людей. Цей етап складається з декількох кроків: складання плану заходів, що передбачає конкретні дії, які перетворюють рішення в реальність; вбудовування в рішення механізму одержання інформації про хід виконання рішення. Основою такого механізму є система виявлення помилок і успіхів у діях для виконання рішення. Отримана в ході відстеження інформація необхідна для коректування виконання рішення.

Таким чином, стадія виконання рішення передбачає інтенсивний обмін інформацією між тим, хто приймає рішення, і тими, хто здійснює його виконання. Обмін інформацією – це складний інформаційно-комунікативний процес, здійснення якого вимагає високої інформаційної культури. Він містить такі основні елементи [9–11].

Кодування й вибір каналу. Перш ніж передати інформацію, відправник повинен

за допомогою спеціального набору знаків-символів закодувати її. Таке кодування перетворює інформацію в повідомлення. Відправник також повинен вибрати канал, сумісний зі знаковою системою, використовуваною для кодування. До загальновідомих каналів належать передання усної й письмової мови, а також електронні засоби зв'язку. Якщо канал непридатний для фізичного втілення символів, передача неможлива.

Передання. На цьому етапі відправник використовує канал для фізичної доставки повідомлення одержувачеві. Передання – важливий етап повідомлення інформації іншій особі.

Декодування. Після передання повідомлення відправником одержувач декодує його. Декодування – це переклад символів відправника в інформацію для одержувача. Якщо символи, що їх обрав відправник, мають точно таке ж значення й для одержувача, останній буде знати, що саме мав на увазі відправник, коли формував цю інформацію. Якщо реакції на повідомлення не потрібно, процеси обміну інформацією на цьому завершується.

Зворотний зв'язок. За наявності зворотного зв'язку відправник і одержувач міняються комунікативними ролями. Споконвічний одержувач стає відправником і проходить через усі етапи обміну інформацією для передання свого відгуку початковому відправникові, який тепер відіграє роль одержувача. Ефективний обмін інформацією повинен бути двобічно спрямованим: зворотний зв'язок необхідний, щоб зрозуміти, якою мірою повідомлення було сприйняте й зрозуміле. Зворотний зв'язок може значно підвищити ефективність обміну управлінською інформацією й сприяти усуненню інформаційних шумів.

Шум. Зворотний зв'язок помітно підвищує шанси на ефективний обмін інформацією, дозволяючи обом сторонам придушувати шум. Мовою теорії передання інформації шумом називають те, що спотворює зміст. Певні шуми присутні завжди, тому на кожному етапі обміну інформацією відбувається деяке перекручення її значення. Перекручення змісту під час обміну інформацією відбувається внаслідок її систематизації (відбору). Оскільки саме особа, що приймає рішення, визначає, які повідомлення відправляти, керівникові дуже важливо вміти правильно якісно й кількісно оцінювати свої інформаційні потреби, а також потреби інших споживачів інформації у сфері їх управлінської діяльності.

Таким чином, поняття управлінського рішення є свідомим впливом суб'єкта на об'єкт управління. Основною сполучною ланкою між суб'єктом і об'єктом управління є інформація.

Основними факторами, що визначають характер прийнятих рішень, є особистісні й професійні особливості особи, яка приймає рішення, стан середовища прийняття рішень і характеристики сукупної інформації про об'єкт керування. Для полегшення праці й економії часу створено автоматизовані інформаційні системи, основою яких є база даних. Серед них особливе місце займають системи підтримки прийняття управлінських рішень. Ці системи забезпечують рішення проблем, розвиток яких важко прогнозувати. Їх оснащено складними інструментальними засобами моделювання, вони дозволяють легко міняти постановки розв'язуваних завдань і

вхідні дані. Системи підтримки прийняття управлінських рішень відрізняються гнучкістю й легко адаптуються до зміни умов, мають технологію, максимально орієнтовану на користувача.

Аналіз наукової літератури [2–6, 8] виявив, що в структуру професійно-важливих якостей фахівця управлінської діяльності слід включити: а) загально-професійні якості особистості, знання, уміння, навички, які необхідно розвинути (або сформувані) у фахівців будь-якого профілю в процесі професійної підготовки; б) специфічні якості особистості, знання, уміння, навички, що їх диктують завдання підготовки до конкретної спеціальності. Цю групу якостей повинні визначити представники тих або інших конкретних спеціальностей разом із психологами й педагогами.

Таким чином, як **висновок**, зазначимо, що в базову модель діяльності фахівця управлінської діяльності необхідно включити загально-професійні якості особистості й визначальні їхні знання, уміння й навички, а також виділити в окремий блок знання, уміння й навички, які характеризують інформаційну культуру, що цілком обумовлене вимогами науково-технічного прогресу й високим рівнем технологічного розвитку суспільства. Розробляючи зміст цих знань, умінь і навичок, особливу увагу варто приділити гуманітарному аспекту інформаційної культури, що характеризують моральні якості особистості. Саме вони допоможуть фахівцеві пов'язати його інформаційні інтереси, потреби, схильності й дозволять ніби збоку подивитися на характер цілей власної діяльності, коректуючи їх у міру визначення меж і пріоритетів своїх знань.

Література:

Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине. – М., 1983.

Антонова С. Г. Информационная культура специалиста: Гуманитарные основания // Проблемы информационной культуры. – М., 1994.

Антонова С. Г. Информационная культура личности: Вопросы формирования // Высшее образование в России. – 1994. – № 1.

Вохрышева М. Г. Информационная культура в системе культурологического образования специалиста // Проблемы информационной культуры. – М., 1994.

Yankelovich D. New rules: Searching self-fulfilment in world turned respidedom. – New York, 1981.

Минкина В. А. Информационная культура и способность рефлексии // Высшее образование в России. – 1995. – № 4.

Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н. Н. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. – М., 1999

Механізми прийняття управлінських рішень органами державної влади щодо соціально-економічного розвитку регіонів: [Монографія] / За заг. ред. А. О. Дегтяря. – Х., 2006.

Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К., 200.

Цветков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Х., 1996.

Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади: Монографія / За заг. ред. Ю. О. Куца, С. В. Краснопорової. – Х., 2006.

УДК 141.7

Кривда Н. Ю

КУЛЬТУРНИЙ ПОЛІЦЕНТРИЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ

В статье затрагиваются проблемы поликультурной системы Украины, возможности реконструкции и идентификации.

Ключевые слова: идентичность, культура, цивилизация, этнос.

The article covers the problems of polycultural system in Ukraine, possibilities of state reconstruction and national identification.

Key words: identification, culture, civilization, ethnos.

Неортодоксальні дослідники і в Україні, і в діаспорі давно визначали культурний поліцентризм, зокрема, наявність дихотомії україномовного та російськомовного елементів у соціумі України. Основним предметом аналізу, що витікав із визнання цих протиріч, стало дослідження *співвідношення між українським державотворенням та національною відбудовою*. Відновлена незалежність України не привела до автоматичної побудови етнонаціональної української держави, створення якої визначали як головну мету політичної діяльності діаспори зокрема. Але для поміркованих дослідників такий розвиток подій був передбачуваним.

Проблему ідентичності по-різному розглядають дослідники як в Україні, так і за кордоном. Малоросійська спадщина – початок сучасного українського національного будівництва, – вважає Зенон Когута. Концепцію множинних лояльностей та ідентичностей висуває Павло Магочий. Діалектику становлення української модерної нації Роман Шпорлюк визначає як деструкції старих польської та російської націй. Суперечливість взаємозв'язку процесів модернізації та національного будівництва відзначає Орест Субтельний.

Метою статті є вивчення шляхів українського соціуму до спільного українського проекту через визначення власної ідентичності та формування культурного діалогу як у середині країни, так і зі світом.

Ясне розуміння власної цивілізаційної ідентичності сприяло видатним успіхам таких країн, які, не руйнуючи власної органічності, вибірково й гідно сприймають інновації західного походження. Амбівалентні наслідки має економічна й культурна асиміляція там, де цивілізаційно-культурні межі розмиті. Україні, яка географічно, історично, ментально близька до центральноєвропейського варіанта Західної цивілізації, «важко вирішити, якою мірою вона співпричетна останньому, а якою – Східноєвропейсько-Євразійському, останніми століттями – російсько-радянсько-пострадянському світові», – зазначають С. Кримський та Ю. Павленко [2, с. 14].

Відомий політичний історик з діаспори Р. Шпорлюк у роботі «Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі)» зазначав, що незалежна Україна, проголошена в серпні 1991 року, самовизначалася не як етнічна держава. Це

була територіальна, владна, юридична одиниця, фактично спадкоємиця Української РСР, а її громадяни мали різне етнічне походження, основними мовами їх спілкування були російська та українська (у різних співвідношеннях), а також мови інших етнічних груп [6]. Проголошення незалежності дослідник вважав результатом складного політичного компромісу між різними політичними силами в Україні. Більшість із цих політичних сил не мала вираженого українського національного наповнення, більше того, проголошення жорстких національних гасел у програмі побудови української держави було здатне зірвати цей компроміс. Розвиток політичної структури в Україні від початку перебував переважно під впливом західної традиції, а не українських діаспорних політичних інститутів, відзначав Ю. Луцький, а «на Заході політика – це мистецтво компромісу, домовлення після всебічного обговорення справ. ... Вона, між іншим, не вимагає того, що домагається політики діаспори – єдності» [3, с. 130].

Суперечливе становище України в цивілізаційному просторі пов'язане з різноспрямованими векторами ціннісних орієнтацій її громадян, що об'єктивно обумовлене тисячолітньою історією, «а тому і не переборюване ні в одній, ні в іншій бік у найближчому майбутньому» [2, с. 14]. Саме це, як вважають українські дослідники С. Кримський та Ю. Павленко, а не «національна гетерогенність чи фактична двомовність, становить глибинну й хронічну загрозу» для існування України як незалежної держави [2, с. 14].

Для успіху державотворення Україні надзвичайно важливо й надалі відстоювати принцип, згідно з яким українська нація насправді є багатоетнічною політичною, а не етнічно-мовною спільнотою, – вважає Р. Шпорлюк. Дослідник зазначає, що, виходячи з такого засновку, Україна має розв'язувати проблеми регіоналізму: варто було б визнати особливі умови та потреби окремих частин країни, територія якої охоплює простір від Карпат до Азовського моря [6].

Відсутність значного підґрунтя для впровадження національно орієнтованих засад державотворення в Україні має як культурософські та історіософські, так і суто політичні засади. По-перше, «із хвилею послаблення утисків національне починає трансформуватися в понаднаціональне. Це не означає занепад національного. Тільки наголос змінюється» [3, с. 76]. Етнонаціональна програма стала одним з важливих чинників у боротьбі за незалежність, й гасла української національної незалежності не викликали заперечень із боку представників інших національностей, що доклали чимало зусиль у створенні української держави.

Але після здобуття незалежності впровадження суто національної програми вже перестало бути консолідуючим фактором, натомість й не було виправдано через фактичну багатокультурність країни. Адже «Україна етнічно неоднорідна. Значна кількість її населення – росіяни, а багато українців “за паспортом” вправніші в російській, ніж в українській мові. Мовний дуалізм має також географічний вимір. Захід є переважно україномовним, Схід і Південь великою мірою російськомовні. На таку роздвоєність накладаються важливі соціоекономічні відмінності: Захід є сільським, а Схід – міським» [6].

Для України обмеження завдань державного будівництва лише національним

порядком денним було не тільки недоцільним (як зазначає Луцький, «у час національного піднесення не треба замикатися в собі, а шукати доріг у світ. Не вважати, що перш за все мусимо вибороти незалежність і національну суверенність, а лише потім думати про світовий контекст. Ці цілі треба здобувати рівночасно» [3, с. 128]), але й небезпечним. Надзвичайно важливим завданням у розвитку України було протиставитися спокусам етнічного розбрату, побудованим на давніх кривдах, особливо там, де разом живуть люди різних мов, культур і релігій. ... Народи України не повинні вірити в розмови про те, що їхнє мирне співіснування є неприродним.

Аналіз процесів здобуття незалежності, що його здійснив Р. Шпорлюк ще в 2000 році, носить виразно пророчий характер. Процес здобуття незалежності та подальше її закріплення спричинили кілька чинників, серед яких західний дослідник називає широкі демократичні процеси на теренах колишнього СРСР (культурно-політичне відродження в Україні стимулювали події саме в Росії) та в Східній Європі загалом, «повернення» історії в Україні дозволило домогтися прориву в справі виборювання незалежності та державного будівництва та, нарешті, чорнобильські події, які стали відправною точкою цього процесу, що, зрештою, спричинив широкий національний рух.

Чорнобиль був територіально українською проблемою, але його масштаби явно не обмежувались етнічними рамками; це й створило засади демократичного руху, який був українським територіальним.

Згодом «повернення історії», яке спричинив чорнобильський рух, стало «одним із вирішальних чинників національного пробудження. В Україні найважливішою сторінкою “поверненої історії” стала, без сумніву, найбільша трагедія, пережита українцями, принаймні до Чорнобиля, – голодомор 1932–1933 рр.» [6], яка мала вже більш виразне національне забарвлення, але не зумовило остаточного переходу навіть частини демократичного руху на національне підґрунтя.

Трансформація демократичного руху в Україні у виражений національний та завершення формування дихотомії «український – російськомовний» пов'язане із постановкою низки питань у сфері міжконфесійних відносин, адже релігія має безпосереднє відношення до національної проблеми в Україні. «Рух за визнання Української греко-католицької церкви, який 1989 р. став масовим... голоси за відновлення Української автокефальної православної церкви, знищеної у 30-х роках» [6], стали такими кроками до визначення національного порядку денного в державотворенні в Україні.

Надалі поділ лише поглибився й згодом був представлений як «поділ між тими, хто за радянську систему (чи за те, що вони пам'ятають як радянську систему), й тими, хто хоче рухатися від неї до “Європи”». Вже тоді, у 2000 році, вчений підкреслює, що поділ має досить виразний географічний вимір, що може навіть перетворитися на етнічний, щось на зразок «українсько-російського розколу...» [6]. Чимало проблем сучасної України пов'язані з радянською системою, радянськими суспільними інститутами та цінностями. Саме ставлення до них розділяє українців сьогодні [6].

Через сім років, пройшовши крізь героїчно-ганебні вибори 2004 року, ставши

свідками революційного піднесення гідності та розчарування в майданний героях, отримавши нову владу, українці опинилися на межі розколу. Водоподіл позначається по лінії модерну і дежавю радянської цивілізації, – вважає сучасний політолог А. Єрмолаєв. «Ідеї європейської ідентичності дісталися в спадок від націонал-демократів представникам групи капіталів, пов'язаних з глобалістськими процесами в економіці. Реставраційний фетишизм з його меркантильністю, консерватизмом та мовними протиріччями став зручним інструментом в руках промислових груп сировинного сектора, власників “заводів та пароплавів”, що залежать від російського газу та замовлень на труби. Європейський модерн та радянська цивілізація зіштовхнулися в шатах українського “заходу” та українського ж “сходу” як дві мови нації, два ідеали облаштування країни» [1].

Як зазначає відомий політичний аналітик М. Рябчук, «подібна амбівалентність притаманна всім народам, призвичаєним до державного патерналізму, проте... сьогоднішній українець психологічно розщеплюється не лише між цінностями державного патерналізму та вільного ринку, комуністичного авторитаризму й ліберальної демократії, а й між традиційно-советською і новою українською ідентичністю, між „вищою”, „престижнішою” імперською мовою та культурою і відроджуваною мовою та культурою своїх „нижчих”, переважно сільських предків» [5].

Отже, в Україні так само, як у діаспорі, питання ідентичності не може бути автоматично вирішеним. Стоїть питання про існування української ідентичності, яка була спільною для всіх українських земель. Саме наявність цієї ідентичності є головним інструментом у забезпеченні єдності різних регіонів України та запобіганні виникненню між ними конфліктів на етнічній, релігійній і регіональній основі. Проблема національної ідентичності та єдності тісно пов'язана з культурними та історичними орієнтирами в українському суспільстві. «Незалежно від характеру аргументів – були вони історичними, етнографічними чи філологічними – твердження про наявність окремої української культурної ідентичності мали політичний контекст від самого початку. Так чи інакше вони ставили під сумнів офіційне, імперське бачення нації» [6].

Формування ідентичності в Україні має складний багаторівневий характер. Відособлення українців від росіян і поляків не гарантувало того, що ті українці, які не бажали бути росіянами, об'єднуються з тими, хто не хоче перетворюватися на поляків: «Російські українці боронили свою ідентичність від росіян; галицькі та й ті правобережні українці, що жили під Росією після 1793–1795 рр., переймалися переважно тим, як зберегти себе поряд з поляками. Потрібен був час, аби російські українці почали думати про польських та австрійських як про співвітчизників, а останні – сприймати перших у той самий спосіб» [6].

Одним із чинників формування єдиної української ідентичності став пошук каналів діалогу зі світовим контекстом та трансляції українського національного культурного продукту в цьому просторі. Головною проблемою в реалізації цього проекту була історично зумовлена наявність в українському культурному процесі феномена посередника між українською та світовою культурою. Цю роль виконували

різні актори. Для Східної України тривалий час російська культура відігравала роль головного інструменту й гаранту доступу до світової цивілізації та культури. Водночас вона була фільтром у цьому процесі.

Для західноукраїнських земель роль посередника відігравали й польські, й австро-угорські цивілізаційні структури, що допомагало діалогу українців із західною культурою, певною мірою ускладнюючи внутрішньоукраїнський діалог. Прагнення українців до подолання цієї перешкоди багато в чому зумовило зміцнення їхнього спільного прагнення до розвитку єдиної української мови.

Нарешті, роль посередника намагалась й намагається виконувати українська діаспора. Але нерозв'язаність внутрішніх протиріч, в тому числі й щодо ідентичності, в самій діаспорі, напевно, заважало їй набути повноцінної ролі якісного посередника. Діаспора, скоріше, поновлювала місце України як периферії (невипадково Ю. Луцький зазначав, що в діаспорі «постає цікава амальгама провінційності української та канадської, бо ж світовідчуження цих людей таке глибоко провінційне, що не вливається в головну культурну течію Америки чи Європи» [3, с. 54]).

Позбавитися посередників у спілкуванні зі світовою культурою, набути власного голосу в цьому діалозі – таким стали завдання всієї української культури й, відповідно, роль кожної її частини, включно із діаспорою. Р. Шпорлюк зазначав, що «як для Росії здатність бути вікном у світ для її народів є запорукою єдності країни, так і для України можливості незалежного існування значною мірою залежатимуть від її успіхів у виведенні українців у світ та ознайомленні світу з Україною. Успіх чи невдача у розв'язанні основних “внутрішніх” проблем України безпосередньо пов'язані з тим, які відносини вона налагодить із світовою спільнотою» [6].

У забезпеченні власної національної ідентичності для України важливо відмовитися від посередників у спілкуванні зі світовим контекстом. «...якщо ми обираємо служіння національній ідеї не заради самоутвердження, а як люди культури, ми завдяки цьому обираємо цілісний людський світ, де національне – один із аспектів», – пише відомий український дослідник В. Малахов [4, с. 446].

Крім зовнішніх, країні необхідно вирішувати і внутрішні проблеми. Нагальними є економічні, соціальні, екологічні питання. Але їх вирішення неможливе без врахування цивілізаційних кодів, різних для різних частин України. «...Потрібне перезавантаження українського національного проекту», – наполягає А. Єрмолаєв. Успіх проекту пов'язаний зі здатністю еліти очолити процес трансформації, яка має поєднати традицію та модернізм, використовувати та розвивати національні ресурси з різними цивілізаційними кодами, засвоїти та культивувати історію свого народу без вилучень та відсилань до міфічного Золотого віку. Молодий соціум потребує укріплення як надрегіонального цілого. «Якщо сучасна еліта України з цим надзавданням не впорається, тіньове громадянське суспільство буде вимушене сформулювати соціальний запит на контреліту. Це... завдання недалекої перспективи» [1].

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що предметом дослідження стало співвідношення процесів державотворення та національної відбудови. Українська нація насправді є багатоетнічною політичною, а не етнічно-мовною спільнотою.

Кривда Н.Ю. **КУЛЬТУРНИЙ ПОЛІЦЕНТРИЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ**

Різноспрямовані вектори ціннісних орієнтацій громадян роблять цивілізаційний вибір країни невизначеним. Відродження національної програми після здобуття незалежності перестало консолідувати суспільство. Багатокультурність, мовний дуалізм та ставлення до радянських інститутів розділяє спільноту. Факторами, що спонукали національно-демократичні процеси в країні, були перетворення на теренах СРСР, «повернення» в простір історії факту голодомору, що його вилучила радянська цензура, чорнобильські події та міжконфесійна боротьба, у якій, власне, демократичний рух набрав рис національного. Формування української ідентичності демонструє завжди політичний модус. До усвідомлення власної ідентичності та до діалогу зі світом східні та західні землі рухалися різними шляхами, залучали різних посередників. Зараз успіх української держави залежить від самостійного налагодження зв'язків зі світом. У внутрішніх процесах перетворення країни українська еліта має поєднувати традицію та модернізм, використовувати та розвивати національні ресурси з різними цивілізаційними кодами, засвоїти та культивувати історію свого народу без вилучень. Молодий соціум потребує зміцнення як надрегіонального цілого.

Література:

1. *Ермолаев А.* Советская цивилизация и европейский модерн. <http://www.ng.ru/courier/2006-03-13>
2. *Крымский С. Б., Павленко Ю. В.* Введение. Инварианты цивилизационного процесса // Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др. – К., 2002.
3. *Луцький Ю.* З двох світів. – К., 2002.
4. *Малахов В.* Особистість і національна культура: підґрунття етичних проблем // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.
5. *Рябчук М.* Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – К., 2000.
6. *Шпорлюк Р.* Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі). – К., 2000.

УДК 1:316.3 + 340.12

Калиновський Ю. Ю.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ПІДГРУНТЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статье рассматриваются существенные характеристики правосознания украинского общества сквозь призму информационно-коммуникационного взаимодействия субъектов правоотношений. Делается вывод о том, что коммуникационные коды правосознания возникают на основе двух источников – этноментальных матриц национальной культуры и правовых ситуаций intersубъективного характера. Проанализированы характерные черты национального менталитета и их влияние на правосознание украинского общества.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные коды правосознания, архетипы коллективного бессознательного, ценностное поле правосознания, амбивалентное правосознание.

This article is devoted to the investigation of the essential characteristics of the sense of justice in Ukrainian society through the prism of IC-co-operation of legal relationshi's subjects. We draw a conclusion, that the communication codes of the sense of justice shape on the basis of two sources – ethnomental matrix of national culture and legal situations, that have intersubjective nature. In the article are analysed the characteristic feature of national mentality and its influence on the sense of justice in Ukrainian society.

Key words: IC-codes, archetype of collective unconscious, value field of sense of justice, ambivalent sense of justice.

Протягом існування людства змінювалося не лише саме право, але й засоби його фіксації, збереження та відтворення, що і становить онтогенетичну основу правосвідомості будь-якого суспільства. Важливу роль у цих процесах відіграють інформаційно-комунікативні коди, які мають, з нашої точки зору, двоїсту природу: з одного боку, це комунікативні матриці попередніх поколінь у вигляді правової історичної пам'яті, а з другого, – це конструкції, які створюють у нашу інформаційну епоху майже постійно і відтворюють та змінюють у правових ситуаціях суб'єкти правовідносин. Метою нашої статті є вивчення правосвідомості суспільства як інформаційно-комунікативної конструкції. У нашому дослідженні використано роботи Д. Дубровського, Е. Гусерля, А. Шютца, Т. Лукмана, О. Стовби, М. Фуко, Ю. Габермаса, К. Юнга, М. Цимбалюка, А. Маслоу, Д. Чижевського, А. Бароніна, А. Астаф'єва.

Вихідною евристично-методологічною позицією нашої наукової розвідки є теза про те, що інформація про право, яку сприйняло суспільство, є матеріальним тлом існуючої правосвідомості. Незважаючи на свою ідеальну природу, будь-яка форма свідомості (правосвідомості зокрема), на думку Д. І. Дубровського, має свій матеріальний носій (код). Тому просторову локалізацію має і ідеальне, яке невід'ємне від матеріального, як інформація від свого коду і взагалі як якість від субстанції. З

Калиновський Ю.Ю. **ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ПІДГРУНТЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ**

точки зору дослідника, явище суб'єктивної реальності перебуває у своєму коді, котрий являє собою нейродинамічну систему, що має конкретні просторові й часові якості [1, с. 100].

Отже, інформаційно-комунікативні параметри правосвідомості зароджуються в конкретній правовій ситуації, яка спонукала суб'єкта до усвідомлення своїх прав і обов'язків. Інституційно-рамкові межі комунікативної взаємодії з формальної точки зору встановлює держава за допомогою норм позитивного права. Але будь-який суб'єкт правовідносин здатен створювати власні комунікативні мережі, не опосередковані державним втручанням і обумовлені насамперед його правосвідомістю. Для визначення поля діяльності суб'єкта правовідносин у суспільстві, на нашу думку, доречно буде використати поняття «життєвий світ», яке запропонував представник комунікативної теорії Е. Гуссерль у роботі «Криза європейських наук та трансцендентальна феноменологія». У свою чергу дослідники А. Шютц та Т. Лукман зазначають, що життєвий світ повсякденності є дійсністю, яка уможливорює порозуміння людей щодо ситуації, у якій вони стикаються один з одним віч-на-віч [2, с. 75]. Такою ситуацією є і правова ситуація, яка виникає під час взаємодії двох й більше суб'єктів. З точки зору українського дослідника О. В. Стовби, правова ситуація – це простір спільного життя, котрий впорядковується на основі права і за допомогою закону, що якісно відрізняє його від простору хаотичного, необлаштованого. Вираз «на основі права» в цьому разі означає, що право є тою мірою, котра створює фундамент, основу для будь-якого можливого упорядкування ситуації. У свою чергу закон у правовій ситуації є «підручним засобом», «межовим знаком» для визначення кордонів праводомогання, встановлених на основі міри права [3, с. 11].

У цьому контексті правосвідомість суспільства є певним уявленням народу про те, як можна впорядкувати ту або іншу ситуацію, виходячи з принципів справедливості, писаного та неписаного права. Як зазначалося раніше, інформацію про право передають від покоління до покоління у вигляді певних кодів, які містяться в мові, текстах, колективній свідомості та колективному несвідомому (казки, прислів'я, фольклор). Як справедливо підкреслював М. Фуко, солідаризуючись з іншими авторами, довільні знаки мови і письма надають людям засоби володіння ідеями й передання їх іншим так само, як всезростаюче надбання відкриттів кожного сторіччя. Тому постійному розриву часу мова надає безперервність простору, а саме тою мірою, якою вона аналізує, об'єднує і роз'єднує уявлення, вона має можливість зв'язувати за допомогою часу пізнання речей. Завдяки мові безформна одноманітність простору розчленовується, в той же час, як різноманіття послідовностей об'єднується [4, с. 147].

Саме мовленнєва практика об'єднує людей у їхньому бажанні відстояти свої права, встановити належний рівень комунікативної взаємодії та бути сприйнятими в суспільстві. В таких ситуаціях виявляються глибинні коди правосвідомості, що їх відтворюють суб'єкти суспільних відносин як свідомо, так і несвідомо. Щодо цього Ю. Габермас зауважує, що для самого життєвого світу мова й культура є конститутивними. Мовець і слухач посідають тут перформативну позицію, в якій

вони ставляться один до одного як до особи (як відносини, виражені займенниками Я та Ти), що належать до інтерсуб'єктивно спільного життєвого світу. І оскільки в комунікативній дії, спрямованій на досягнення взаєморозуміння, тобто на іллокутивні цілі, люди вступають у суб'єкт-об'єктні стосунки вони перебувають, так би мовити, по той бік світу (суб'єкт-об'єктних відносин), тобто по той бік об'єктивованих відносин, відповідно до яких вони можуть здійснювати свій цілеспрямований вплив на світ (перлокутивні цілі). Звідси випливає, що, по-перше, комунікація, яка спрямована на порозуміння, здійснюється на основі суб'єкт-суб'єктних стосунків і тому потребує уваги та поваги до іншого, здатності слухати й здатності говорити; по-друге, в ній здійснюється детрансценденталізація трансценденції, яка набуває поцейбічного виміру. Теорія комунікативної дії детрансценденталізує царство інтелігібельного, оскільки вона в неминучих умовах мовленнєвого акту, тобто в серцевині практики досягнення згоди як такої, відкриває ідеалізуючу силу передумання – ідеалізацій, які в повсякденних комунікативних формах аргументації постають лише наочніше. Ідеалізації, що влітаються в комунікації життєвого світу, становлять передумови раціональної комунікативної дії, отже – раціоналізації життєвого світу [5, с. 42–43].

Саме за допомогою закону та права, уявлення про які містяться в правосвідомості індивіда й суспільства, відбувається структуризація, впорядкування або раціоналізація життєво важливих для людини ситуацій. Але, з нашої точки зору, це лише верхівка айсбергу, основу якого становить колективне несвідоме, досвід (інформація) поколінь, що його накопичував той або інший народ і концентрував в архетипах несвідомого. За визначенням К. Г. Юнга, архетипи – це форми та образи, колективні за своєю природою, що наявні практично в усіх народів як складові частини міфів і являють собою автохтонні індивідуальні продукти несвідомого походження. Архетипічні мотиви виникають з архетипічних образів у людському розумі й передаються не тільки за допомогою традиції або міграції, але також за допомогою спадковості. Ця гіпотеза, на думку К. Г. Юнга, необхідна для пояснення тої ситуації, коли складні архетипічні образи можуть спонтанно відтворюватися без будь-якої традиції [6, с. 165]. Тобто архетипи є інформативно-комунікативними матрицями правосвідомості та історичної пам'яті будь-якого народу. Вони виконують роль з'єднувальної ланки між поколіннями та епохами на неусвідомленому рівні – на рівні колективного несвідомого, яке може проявлятися в різний спосіб і особливо під час загострення суспільних відносин.

Розглядаючи феномен правосвідомості українського суспільства як динамічне та незавершене явище інформаційно-комунікативної взаємодії, слід зауважити, що йому притаманна низка функцій, які підкреслюють його комунікаторсько-виховний сенс, важливий для поступального розвитку будь-якої держави. Через реалізацію гносеологічної, регулятивної, оціночної та виховної функцій правосвідомості відбувається міжсуб'єктна взаємодія в суспільстві. Український дослідник М. Цимбалюк переконаний, що криза соціологічного детермінізму змушує переглянути функції правосвідомості, серед яких, поряд з гносеологічною та регулятивною, варто належну увагу приділити оціночній функції. Саме в межах

Калиновський Ю.Ю. **ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ПІДГРУНТЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ**

реалізації цієї функції останні кваліфікують як справедливі чи несправедливі, своєчасні або несвоєчасні, доцільні чи недоцільні, номінальні або реальні, прогресивні чи реакційні. Разом з тим, автор зазначає, що оціночні критерії є продуктами не самої лише пізнавальної діяльності.

Недосконалість права та правопорядку суб'єкт може вбачати не тільки в логічній суперечливості правових норм чи невідповідності між об'єктивними обставинами та вимогами правових імперативів. Правові оцінки мають також низку «позагносеологічних» факторів, до яких можна віднести, скажімо, і тимчасові суспільно-психологічні настрої, і зміну парадигм правового мислення та основних регулятивних правових цінностей, а також специфіку національних, особистісних, корпоративних інтересів тощо. Тому, вивчаючи механізми функціонування та динаміки правосвідомості, постає необхідність дослідити зміст цінностей, закладених у праві, та засобів, якими вони впливають на державно-правове регулювання. З нашої точки зору, можна погодитись з думкою М. Цимбалюка про те, що першопорядковою онтологічною основою формування права як культурного феномена та його осмислення на рівні індивідуальної та суспільної свідомості є комунікація (в широкому розумінні цього поняття), оскільки саме в надрах людського спілкування, їхніх повсякденних взаємовідносин закладено відчуття й усвідомлення потреби визначити ту межу, де закінчується власна суспільна свобода та починається свобода «іншого» [7, с. 32–33].

Таким чином, за допомогою комунікативних зв'язків, що існують у суспільстві, формується своєрідне «ціннісне поле правосвідомості», у якому утворюються, функціонують та ретранслюються на різні рівні системи уявлення про право, свободу, закон, справедливість, рівність тощо. Проблема полягає в тому, що індивіди по-різному сприймають навколишній світ та вибудовують власну систему цінностей, яка може не збігатися з цінностями інших громадян, хоча загалом у будь-якому суспільстві існує загальний знаменник стереотипного «ціннісного набору», який стандартизує уявлення та прагнення людей щодо життєвих пріоритетів. Аналізуючи цінності, американський дослідник А. Маслоу пропонує таку їх ієрархію: істина, добро, краса, цільність, єдність протилежностей, життєвість, унікальність, досконалість, необхідність, завершеність, справедливість, порядок, простота, багатство, невимушеність, гра, самодостатність [8, с. 132–133]. Ці цінності він називає найвищими. Разом з тим, необхідно зазначити, що в цій класифікації відсутня така цінність, як свобода. Це пов'язано з тим, що А. Маслоу відносить її не до найвищих, а до так званих базових цінностей. За його логікою, якщо є дві потреби, які необхідно задовольнити, то обирають більш нагальну, більш гостру, тобто «нижчу». Очікуване вельми ймовірно віддавання переваги буттєвим цінностям спирається на попередню реалізацію нижчих, більш гострих потреб, у тому числі й свободи. Отже, для переважної більшості громадян найвищі цінності (в тому числі й правові), будуть неактуальними, доки не будуть реалізовані базові потреби та цінності. Ієрархія суспільних та індивідуальних цінностей щодо права ретранслюється під час виховання, за допомогою механізмів соціалізації та комунікації від покоління до покоління, що становить аксіологічну основу суспільної й індивідуальної

правосвідомості.

Ми переконані, що визначальну роль для перебігу та якості інформаційно-комунікативних процесів, як підґрунтя правосвідомості українського суспільства, відіграють такі константи національного буття: традиції, звичаї, ментальні характеристики українства. На думку етнологів, традиції – це синхронізовані, підпорядковані національному ідеалу вірування, способи мислення, устремління, норми поведінки попередніх поколінь, котрі поділяє та відтворює сучасне покоління. Додержуючись традицій того або іншого соціального середовища, людина виражає свою солідарність та приналежність до неї, за що отримує підтримку від спільноти та відчуває себе захищеною. У кінцевому підсумку особа ідентифікує себе з певною нацією. Національна ідентифікація фактично і є тим комунікативним процесом, коли традиції поколінь стають надбанням конкретної особи. У загальному розумінні національна ідентифікація – це процес самоототожнення з нацією на основі будь-якого зв'язку, а також включення у свій власний світ й прийняття норм, цінностей та зразків цієї нації [9, с. 53]. Така інформація містить у собі ментальні характеристики та певний досвід нації (суспільства) щодо уявлень про право, законність, правопорядок. Вивчаючи правосвідомість українського суспільства, з нашої точки зору, необхідно проаналізувати характерні риси національного характеру, що дозволить отримати необхідну інформацію щодо генези праворозуміння українства. На думку фахівців, національний характер – це сума ознак, що відрізняють людей однієї національності від людей іншої національності, а також комплекс фізичних та духовних якостей, котрі є притаманними певній національній спільноті. Як зазначав свого часу відомий український дослідник Д. Чижевський у праці «Нариси з історії філософії на Україні», до характеристики національного типу існує три підходи:

- дослідження народної творчості;
- аналіз яскравих історичних епох і періодів певного народу;
- характеристика найбільш значущих, «великих», видатних представників цього народу.

Використовуючи ці підходи, він стверджував, що для українців характерні емоційність, сентиментальність, чутливість і ліризм, які виявляються в народному житті та звичаях, своєрідності українського гумору [10, с. 8].

До позитивних рис українців етнопсихолог А. С. Баронін зараховує працелюбність, гостинність, потяг до освіти, статичність у родинних відносинах, прагнення до духовного життя, повагу до дорослих, мужність, оптимізм, стремління до незалежності та універсальності. Водночас він виокремлює негативні риси національного характеру українців: схильність до анархізму, невизначеність, відособленість, мрійливість, імпульсивність, індивідуалізм [9, с. 76–77].

Для становлення демократичної правосвідомості в українському суспільстві необхідно, насамперед, подолати анархізм та відособленість – прагнення вирішити певну проблему тільки для себе і, як правило, у не правовий спосіб. Окрім цього, на нашу думку, правосвідомості українства на сучасному етапі притаманні такі негативні риси: відсутність належної поваги до права та закону, загальна орієнтація на їх невиконання, розповсюдження корупції та хабарництва на всіх соціальних

Калиновський Ю.Ю. **ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНЕ ПІДГРУНТЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ**

рівнях, низький рівень правової культури. Вищезначений негатив у вигляді неправових настанов буде транслюватися наступним поколінням до тих пір, доки держава не буде рішуче долати ці явища в першу чергу на інституційному рівні і не створить загальнонаціональної програми правового виховання, починаючи від школи і закінчуючи безкоштовними юридичними консультаціями для пересічних громадян. Разом з тим, необхідно зазначити, що правосвідомість українського суспільства «звикає» до демократичних норм і цінностей протягом дуже невеликого проміжку часу, що призводить до світоглядної еклектики – поєднання цінностей з протилежних політико-правових систем. Так, за переконанням вітчизняного дослідника А. О. Астаф'єва, у країнах, котрі переживають глибокі трансформаційні процеси і мали складне історичне минуле, нема чітко виражених ідеологій, а тому політичний процес і, відповідно, політична мова й риторика нагадують химерний, еклектичний «салат», де в одному не менш строкатому інформаційному полі здатні співіснувати й відтворювати ті чи інші семантичні системи, несумісні поняття, приналежні до різних політичних, ідеологічних традицій, подекуди несумісних й ворожих [11, с. 233].

Як відомо в Україні політика і право, на жаль, дуже щільно взаємодіють, а частогусто політика визначає право, що є неприпустимим для демократичної країни. Тому, виходячи з логіки А. О. Астаф'єва, можна зробити висновок, що і політична, і правова свідомість українських громадян вражена ціннісною дезорієнтацією та відсутністю ідеалів. А саме прагнення, устремління, ідеали та настанови формують імперативне тло правосвідомості будь-якого соціуму й передаються в комунікативних актах міжсуб'єктної взаємодії. Особливо важливо мати суспільні правові ідеали для тих спільнот, котрі перебувають у процесі переходу від однієї політико-правової системи до іншої. Основними засобами ретрансляції та відтворення суспільних цінностей правосвідомості є правове виховання та правовий всеобуч. Необхідно зазначити, що в епоху глобалізації значний вплив (як позитивний, так і негативний) на ціннісне наповнення правосвідомості українського суспільства здійснюється з-за кордону за допомогою перш за все засобів масової комунікації. В цьому контексті є дуже важливим європейський вибір України, оскільки саме правові стандарти Євросоюзу уособлюють цінності демократії та правової держави. Але на сьогодні українська еліта та суспільство лише декларує європейські політико-правові стандарти, а не реалізує їх, тобто наявна інформація не переростає в комунікативну дію.

Таким чином, правосвідомість українського соціуму є різновидом інформаційно-комунікативного коду, який існує в межах національної культури та обумовлений не тільки наявною правовою ситуацією, а й архетипами несвідомого. В процесі інформаційно-комунікативної дії відбувається ретрансляція правових ідеалів, образів, настанов та прагнень, які стають надбанням правосвідомості суспільства. У свою чергу правосвідомість українства обумовлена ментально-історичним тлом та особливостями сучасного правового дискурсу у вітчизняному суспільстві. Правосвідомість українського суспільства є амбівалентною, оскільки поєднує в собі як тоталітарні, так і демократичні цінності та ідеали. Інформаційно-комунікативне підгрунття правосвідомості українського народу є багаторівневим, динамічним феноменом, який потребує подальшого вивчення.

Література:

1. Дубровский Д. И. Проблема духа и тела: возможности решения. – М., 2002.
2. Schuts A., Luckmann Th. Strukturen des Lebenswelt. – Neuwied, Darmstadt, 1975.
3. Стовба А. В. Правовая ситуация как исток бытия права. – Х., 2006.
4. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994.
5. Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія: Підручник. – К., 1999.
6. Юнг К. Г. Архетип и символ / Сост. и вступ. ст. А. М. Руткевича. – М., 1991.
7. Цибалюк М. Функції правосвідомості та їх онтологічна інтерпретація // Право України. – 2006. – № 11.
8. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М., 1999.
9. Баронин А. С. Этническая психология. – К., 2000.
10. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1983.
11. Крисаченко В. С., Степико М. Т., Власюк О. С. та ін. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В. С. Крисаченка. – К., 2004.

УДК 130

Петрук В. Н.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА

У статті розглянуто проблематику утвердження в Україні верховенства права та впровадження європейських стандартів у національну систему судового устрою і судочинства.

Ключові слова: право, закон, свобода, справедливість.

The article treats the problem of confirmation in Ukraine supremacies of right and introduction of European standards in the national system of the judicial mode and legal proceeding.

Key words : the right, law, freedom, justice.

Актуальность статьи обусловлена утверждением в Украине верховенства права путём внедрения европейских стандартов в национальную систему судебного устройства и судопроизводства.

Целью статьи является обоснование гражданского общества в социально-политической мысли Нового времени, усовершенствования судопроизводства в Украине в соответствии с европейскими стандартами как реального утверждения верховенства права в обществе.

Верховенство права является одним из основных принципов построения правового государства.

Правовое государство – реальное воплощение конституционной государственности. В его основе лежит стремление оградить человека от государственного террора, насилия над совестью, мелочной опеки со стороны органов власти, гарантировать индивидуальную свободу и основные права личности.

Понятие «правовое государство» утвердилось на рубеже XVIII–XIX веков. Но сам термин «правовое государство» окончательно закрепился в общественной мысли и юриспруденции в XIX веке в трудах немецких юристов Карла Вельнера, Роберта фон Моля и др. Философское обоснование идеи правового государства имеется в исследованиях Иммануила Канта.

Правовое государство – это государство, ограниченное в своих действиях правом, защищающим свободу и другие права личности и подчиняющим власть воле суверенного народа. Конституция, выступающая своего рода общественным договором между народом и властью, определяет взаимоотношения между личностью и властью. Для того чтобы народ мог контролировать государство и оно не превратилось в монстра, господствующего над обществом, существует разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Приоритет права, которое обладает всеобщностью, распространяется в равной мере на всех граждан, государственные и общественные институты, защищает и отстаивает независимый

суд [1, с. 170–171].

Понятие гражданского общества приобретает категориальный статус в социально-политической мысли Нового времени; в этом качестве его ещё нет в более ранние эпохи, и оно исчезает в последующие. Именно историческое содержание Нового времени – становление буржуазного общества – определило его основные смыслы.

Во-первых, гражданское общество есть синоним общества в собственном смысле слова – общество, рассмотренное во всём многообразии его материальной и духовной продуктивной деятельности.

Во-вторых, гражданское общество мыслится как сообщество граждан, равных в своём достоинстве; оно противостоит сословно-разделённому обществу, связано с идеей самодержавности народа, суверенности наций.

В-третьих, гражданское общество рассматривается как особая стадия развития общества, которая преодолевается (снимается) национальным государством. Особенность этой стадии состоит в том, что она характеризуется атомизацией общества, расщеплением органической целостности на частных индивидов, отчуждённых друг от друга своими потребностями, интересами. Такое понимание гражданского общества, которое, по сути дела, конкретизирует и обобщает также оба других обозначенных выше аспекта данного феномена, получило развёрнутое обоснование в социально-философской теории Гегеля [9, с. 267].

Основными моментами гражданского общества в интерпретации Гегеля являются: система потребностей, правосудие, полиция и корпорация. Гражданское общество, говоря словами самого философа, есть господство нужды и рассудка. Оно не может покоиться на своей собственной основе, лишено самостоятельности. Оно предполагает в качестве своей предпосылки государство, ибо люди могут обособиться в качестве частных индивидов внутри целого государства [9, с. 268].

По Гегелю, выход состоит в том, что «сфера гражданского общества переходит в государство», которое в отличие от гражданского общества, где каждый сам заботится о себе, есть «действительность субстанциональной идеи» [10].

Проблемы гражданского общества решаются через снятие. Снятие, как известно, есть диалектический процесс, в ходе которого то, что преодолевается (отрицается), не исчезает, а становится моментом более высокой ступени развития, в нашем случае – государства [9, с. 268].

Словом, государство, чтобы решить проблему гражданского общества – выйти из губительного для социума морального тупика, должно приобрести такой вид и найти для себя такое место в обществе, когда оно, занимаясь своей собственной деятельностью, занимается ею таким образом, что выполняет одновременно и этические функции. Это – ключевая проблема социально-философской мысли Нового времени, начиная, по крайней мере, с Гоббса, считавшего, что законы есть совесть государства, и кончая Кантом, с его разведением морали и права, когда они взаимно дополняют друг друга как внутреннее и внешнее выражение одного и того же, и Гегелем с его идеей государства как воплощённой нравственности. Философы понимают, что только через решение этой проблемы гражданское общество может

обрести историческую легитимность – стать силой, которая обеспечивает колоссальный материальный прогресс, не разрушая моральные, духовные основы общества [9, с. 272].

Необходимость выделения судебной власти в самостоятельную и независимую возникла уже в античных государствах. Идеи о разделении властей разработаны в трудах Аристотеля, Платона, Полибия, Эпикура и др., воплощены в судебной практике античного мира.

Идея судебного контроля, непосредственно связанная с идеями защиты прав личности, безусловно, имеет духовные аспекты и уходит своими корнями в античное прошлое. Вместе с тем, развитие идеи судебного контроля непосредственно связано с разработанной мыслителями конца XVII – начала XVIII веков идеей разделения властей. Основоположниками классической теории разделения властей, в отличие от их предшественников, создано совершенно новое универсальное учение о разделении властей, которое получило и получает воплощение в конституционном законодательстве и государственном строительстве практически всех стран мира. В системе причин, которые обусловили зарождение и развитие новой теории, прежде всего, следует назвать исторический прогресс, который проявил себя в переходе к более высокому уровню социальной и государственной самоорганизованности.

По мнению многих исследователей, наиболее существенные аспекты доктрины разделения властей и обоснования роли судебной власти среди иных ветвей власти содержатся в трудах французских политических мыслителей Ш. Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо.

Лишь в контексте теории разделения властей, наличия «механизма сдержек и противовесов», во взаимной деятельности отдельных ветвей власти возникла возможность становления и развития в современных демократических государствах самостоятельной и независимой ветви государственной власти – судебной власти [3, с. 25].

Мировое сообщество находится на пути формирования нового миропорядка, от оптимальной организации которого зависит его существование.

Интенсификация сотрудничества украинского социума с мировым сообществом порождает углубление взаимного влияния международного и национального права Украины. В свою очередь этот процесс влечёт за собой интернационализацию или гомогенизацию права, представляя собой одну из основных тенденций развития права в XXI веке [2, с. 115].

С целью совершенствования и внедрения европейских стандартов в национальную систему судоустройства и судопроизводства, 10 мая 2006 года Указом Президента Украины была одобрена Концепция усовершенствования судоустройства для утверждения справедливого суда в Украине в соответствии с европейскими стандартами.

Основными задачами Концепции является реальное утверждение верховенства права в обществе и обеспечение каждого правом на справедливое судебное разбирательство в независимом и беспристрастном суде. Дальнейшее развитие правосудия в Украине должно быть направлено на обеспечение справедливой

судебной процедуры, её упрощение и создание условий для решения спора во внесудебном порядке.

Из текста Концепции следует, что ее цель – создать целенаправленную, обоснованную научно-методологическую основу развития правосудия на Украине в ближайшие десять лет.

Задачами дальнейшего развития правосудия является реальное утверждение верховенства права в обществе и обеспечение каждому права на справедливое судебное рассмотрение в независимом суде. Сущность верховенства права состоит в том, что права человека и основополагающие свободы есть те ценности, которые формируют содержание и целенаправленность деятельности государства.

Однако верховенство права так и останется доктриной, лишённой практического значения до тех пор, пока судьи не будут руководствоваться в своей профессиональной деятельности принципом верховенства права.

В новом украинском социуме собственная правовая система должна быть совместима с международным правом и способна свободно с ним взаимодействовать. Это достигается признанием доминанты международного права над внутренним и вследствие этого существенным изменением национального права. В соответствии со статьёй 9 Конституции нашего государства, составной частью его правовой системы являются нормы международного права и международные договоры, согласие на ратификацию которых дано Верховной Радой Украины [5, с. 4].

В развитие конституционных положений Закон Украины «О судостроительстве» закрепляет, что всем субъектам правоотношений в Украине гарантируется защита их прав, свобод и законных интересов независимым и непредвзятым судом, созданным согласно закону. Данное право, предоставляемое субъектам правоотношений в Украине национальным законодательством, соответствует международно-правовому принципу, провозглашённому Всеобщей декларацией прав человека и гражданина: «Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом» [6, с. 23].

В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека (ст. 10), Международным пактом о гражданских и политических правах (ст. 14) и другими документами Организации Объединённых Наций каждый человек имеет право на справедливое разбирательство его дела компетентным, независимым и объективным судом [7, с. 53].

Во многих международных актах, в частности в Основных принципах независимости судебных органов, одобренных резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября и 13 декабря 1985 года отмечалось, что государства обязаны создать условия независимого правосудия для реализации прав граждан на судебную защиту [8, с. 168–170].

Таким образом, в настоящее время демократические преобразования, которые происходят сегодня в нашем государстве, неразрывно связаны с усовершенствованием судебной системы и гражданского общества и являются основой утверждения правового государства в соответствии с европейскими

стандартами. Сегодня в Украине должно акцентироваться внимание именно на государственно-правовом аспекте социальной направленности, которая отвечает глобальным экономико-социальным преобразованиям, социально-политической ориентации государства Украины на пути вступления в Европейский Союз.

Литература:

1. Горлач Н. И., Головченко Г. Т. Введение в политологию. – Х., 1995.
2. Лукашук И. И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в условиях глобализации // Журнал российского права. – 2000. – № 3.
3. Васильева А. С., Стрельцова Е. Л. Судебные и правоохранительные органы в Украине. – Х., 2006.
4. Ст. 1376 від 10.05.2006 р. № 361 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 19.
5. Конституція України. – Х., 2006.
6. Всеобщая декларация прав человека и гражданина. Утверждена и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сборник международных документов. – М., 1986.
7. Права человека: Сборник международных документов. – М., 1986.
8. Международные акты о правах человека: Сборник документов. – М., 2000.
9. Гусейнов А. А. Философия. Мораль. Политика: Сборник статей. – М., 2002.
10. Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М., 1990.

УДК 16 (075.8)

Стричинець О. В

КАТЕГОРИЧНИЙ СИЛОГІЗМ

Предложено понимание категорического силлогизма в пределах логики, предмет которой мышление (логики, в которой мыслится покой; логики, в которой мыслится движение), и логики, предмет которой рассуждение (логики, в которой рассуждается о покое; логики, в которой рассуждается о движении) родо-видовым способом.

Ключевые слова: категорический силлогизм, логика, покой, движение.

It's proposed understanding of the flat syllogism inside the logic, the subject of which is thinking (the logic in which the calm is thinking; the logic in which the moving is thought); and the logic the subject of which is discussion (the logic in which the calm is discussed; the logic in which the moving is thought) in gender-aspect means.

Key words: the flat syllogism, logic, calm, moving.

Категоричний силлогізм є важливою проблемою логіки. Пропозиція у логіку щодо розуміння її проблематики у родо-видовий спосіб, деякі інші пропозиції призвела до необхідності подолання зокрема проблеми категоричного силлогізму.

Проблема дослідження зводиться до відповіді на запитання, чи існує категоричний силлогізм в межах логіки предметом якої є мислення (логіки, в якій мислиться спокій; логіки, в якій мислиться рух) і логіки, предметом якої є міркування (логіки, в якій міркується спокій; логіки, в якій міркується рух), що розуміється в родо-видовий спосіб?

Гіпотеза полягає в тому, що існує категоричний силлогізм в межах логіки, предметом якої є мислення і логіки, предметом якої є міркування, що розуміється в родо-видовий спосіб.

Метою дослідження є знаходження категоричного силлогізму в межах логіки, предметом якої є мислення і логіки, предметом якої є міркування, що розуміється в родо-видовий спосіб.

Досягнення поставленої мети передбачає осмислення досвіду мислення і міркування, його узагальнень щодо категоричного силлогізму.

Прийнято вважати, що перше наукове розуміння категоричного силлогізму було запропоновано Арістотелем [1].

Логіка, предмет якої мислення.

Логіка, в якій мислиться спокій.

Категоричний силлогізм – силлогізм, в якому із дійсності двох засновків (більшого і меншого), представлених категоричними судженнями виду ASp_1P , ESp_1P , ISp_1P , OSp_1P , слідує дійсність висновку.

Формула (перша фігура).

$M - p_1P$

$S - m_1M$

$S - p_1P$

Аксиома. p_1 належить (не належить) класу, належить (не належить) індивіду, P належить класу, не належить індивіду. p_1 належить (не належить) M , належить (не належить) S , P належить M , належить S .

Правила. 1. Категоричний силіогізм має три терміна. 2. Більший засновок підкоряє менший через середній термін. 3. Якщо родова частина середнього терміну в більшому засновку розподілена, то в меншому засновку вона розподілена. Термін, розподілений у засновку, розподілений у висновку. 4. Якщо більший засновок ствердний, то висновок ствердний. 5. . Якщо більший засновок заперечний, то висновок заперечний 6. Якщо менший засновок загальний, то висновок загальний (з огляду на відповідний модус першої фігури). 7. Якщо менший засновок частковий, то висновок частковий (з огляду на відповідний модус першої фігури).

Фігури і модуси.

Фігура – різновид категоричного силіогізму, що визначається положення середнього терміна.

Перша фігура.

Перша фігура – фігура, в якій частина середнього терміну (рід) є суб'єктом більшого засновку, середній термін є предикатом меншого засновку.

Формула.

$M - p_1P$

$S - m_1M$

$S - p_1P$

Перша фігура є основною, друга, третя і четверта фігури – її різновидами.

Модуси.

Модус – різновид фігури, що визначається кількістю і якістю засновків і висновку.

Всі чотири фігури мають по шістнадцять правильних модусів, всі шістдесят чотири модуси є правильними.

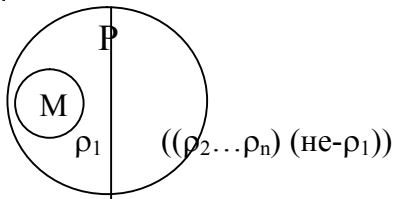
Модуси першої фігури (AAA, AEA, AII, AOI, EAE, EEE, EIO, EOO, III, IAA, IEA, IOI, OAE, OEE, OIO, OOO). Модуси другої фігури (IAA, IEA, III, IOI, EAE, EEE, EIO, EOO, IAA, IEA, III, IOI, EAE, EEE, EIO, EOO). Модуси третьої фігури (AIA, AEA, AII, AEI, EIE, EEE, EIO, EEO, IIA, IEA, III, IEI, OIE, OEE, OIO, OEO). Модуси четвертої фігури (IIA, IEA, III, IEI, EIE, EEE, EIO, EEO, IIA, IEA, III, IEI, EIE, EEE, EIO, EEO).

Приклади модусів.

Приклади модусів першої фігури.

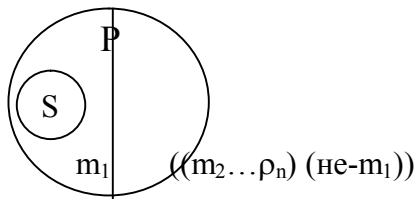
Модус AAA (схема (мал. 1) і формула).

ЭМ.



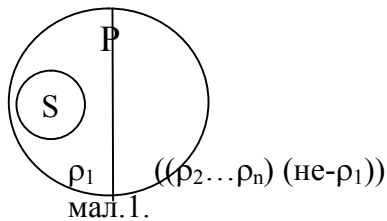
Всі M є ρ₁ оскільки всі M є P

A



Всі S є m₁, оскільки всі S є M

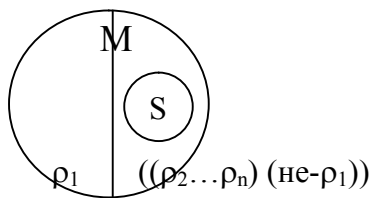
A



Всі S є ρ₁, оскільки всі S є P

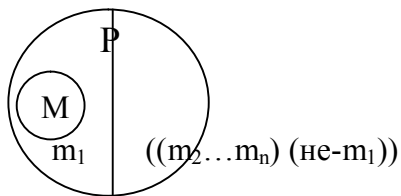
Модус АЕА (схема, (мал. 2) і формула).

E



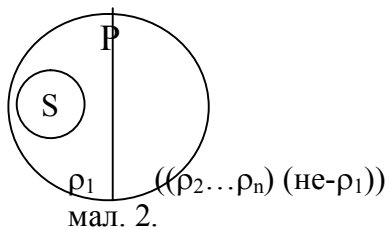
Всі M є ρ₁ оскільки всі M є P

A



Жодне S не є m₁, оскільки всі S є M

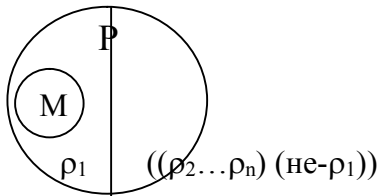
A



Всі S є ρ₁, оскільки всі S є P

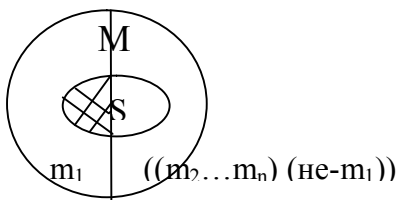
Модус АІІ (схема (мал. 3) і формула).

А



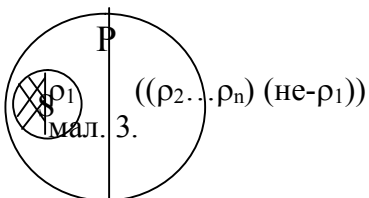
Всі М є ρ₁ оскільки всі М є Р

І



Деякі М не є ρ₁, оскільки всі М є Р

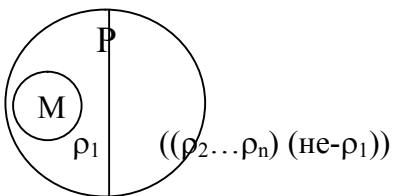
І



Деякі S є ρ₁, оскільки деякі S є Р

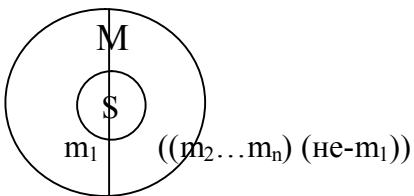
Модус АОІ (схема (мал. 4) і формула).

А



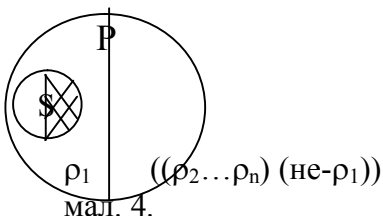
Всі М є ρ₁ оскільки всі М є Р

О



Деякі S не є m_1 , оскільки всі S є M

I



Деякі S є p_1 , оскільки всі S є P

Логіка, в якій мислиться рух.

Категоричний силлогізм – силлогізм, в якому із дійсності двох засновків (більшого і меншого), представлених категоричними судженнями виду $ASP(p_1...p_n)_1P$, $ES(p_1...p_n)_1P$, $IS(p_1...p_n)_1P$, $OS(p_1...p_n)_1P$, слідує дійсність висновку.

Формула (перша фігура).

$$M - (p_1...p_n)_1P$$

$$S - (m_1...m_n)_1M$$

$$S - (p_1...p_n)_1P$$

Аксиома. $(p_1...p_n)_1$ належить (не належить) класу, належить (не належить) індивіду, P належить класу, належить індивіду. $(p_1...p_n)_1$ належить (не належить) M, належить (не належить) S, P належить M, належить S.

Правила. 1. Категоричний силлогізм має три терміна. 2. Більший засновок підкоряє менший через середній термін. 3. Якщо родова частина середнього терміну в більшому засновку розподілена, то в меншому засновку вона розподілена. Термін, розподілений у засновку, розподілений у висновку. 4. Якщо більший засновок ствердний, то висновок ствердний. 5. Якщо більший засновок заперечний, то висновок заперечний. 6. Якщо менший засновок загальний, то висновок загальний (з огляду на відповідний модус першої фігури). 7. Якщо менший засновок частковий, то висновок частковий (з огляду на відповідний модус першої фігури).

Фігури і модуси.

Фігура – різновид категоричного силлогізму, що визначається положення середнього терміна.

Перша фігура.

Перша фігура – фігура, в якій частина середнього терміну (рід) є суб'єктом більшого засновку, середній термін є предикатом меншого засновку.

Формула.

$$M - (p_1...p_n)_1P$$

$$S - (m_1...m_n)_1M$$

$$S - (p_1...p_n)_1P$$

Перша фігура є основною, друга, третя і четверта фігури – її різновидами.

Модуси.

Модус – різновид фігури, що визначається кількістю і якістю засновків і висновку.

Всі чотири фігури мають по шістнадцять правильних модусів, всі шістдесят чотири модуси є правильними.

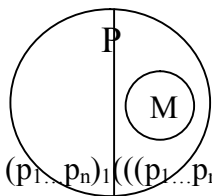
Модуси першої фігури (ААА, АЕА, АІІ, АОІ, ЕАЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕОО, ІІІ, ІАА, ІЕА, ІОІ, ОАЕ, ОЕЕ, ОІО, ООО). Модуси другої фігури (ІАА, ІЕА, ІІІ, ІОІ, ЕАЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕОО, ІАА, ІЕА, ІІІ, ІОІ, ЕАЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕОО). Модуси третьої фігури (АІА, АЕА, АІІ, АЕІ, ЕІЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕЕО, ІІА, ІЕА, ІІІ, ІЕІ, ОІЕ, ОЕЕ, ОІО, ОЕО). Модуси четвертої фігури (ІІА, ІЕА, ІІІ, ІЕІ, ЕІЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕЕО, ІІА, ІЕА, ІІІ, ІЕІ, ЕІЕ, ЕЕЕ, ЕІО, ЕЕО).

Приклади модусів.

Приклади модусів другої фігури.

Модус ЕАЕ (схема (мал. 5) і формула).

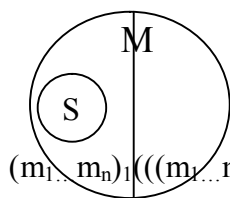
Е



Жодне $(p_1...p_n)_1$ не є M , оскільки всі

$(p_1...p_n)_1 \in P$

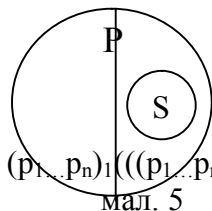
А



Всі $S \in (m_1...m_n)_1$, оскільки всі $S \in M$

$(m_1...m_n)_1(((m_1...m_n)2...((m_1...m_n)n) (не - (m_1...m_n)1)$

Е



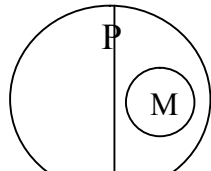
Жодне $S \in (p_1...p_n)_1$, оскільки всі $S \in P$

$(p_1...p_n)_1(((p_1...p_n)2...((p_1...p_n)n) (не - (p_1...p_n)1)$

мал. 5

Модус ЕЕЕ (схема (мал. 6) і формула).

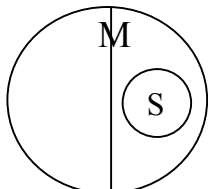
E



$(p_1 \dots p_n)_1 \dots ((p_1 \dots p_n)_2 \dots (p_1 \dots p_n)_n) (\text{не} - (p_1 \dots p_n)_1)$

Жодне $(p_1 \dots p_n)_1$ не є M, оскільки всі $(p_1 \dots p_n)_1 \in P$

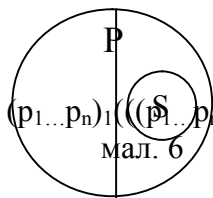
E



$(m_1 \dots m_n)_1 \dots ((m_1 \dots m_n)_2 \dots (m_1 \dots m_n)_n) (\text{не} - (m_1 \dots m_n)_1)$

Жодне S не є $(m_1 \dots m_n)_1$, оскільки всі $S \in M$

E

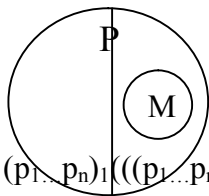


$(p_1 \dots p_n)_1 \dots ((p_1 \dots p_n)_2 \dots (p_1 \dots p_n)_n) (\text{не} - (p_1 \dots p_n)_1)$

Жодне S не є $(p_1 \dots p_n)_1$, оскільки всі S є P

Модус ЕІО (схема (мал. 7) і формула).

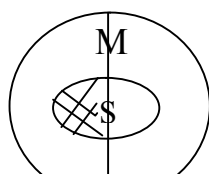
E



$(p_1 \dots p_n)_1 \dots ((p_1 \dots p_n)_2 \dots (p_1 \dots p_n)_n) (\text{не} - (p_1 \dots p_n)_1)$

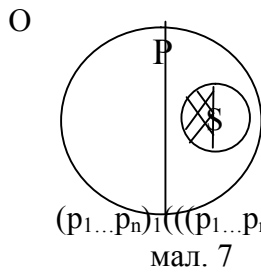
Жодне $(p_1 \dots p_n)_1$ не є M оскільки всі $(p_1 \dots p_n)_1 \in P$

I



$(m_1 \dots m_n)_1 \dots ((m_1 \dots m_n)_2 \dots (m_1 \dots m_n)_n) (\text{не} - (m_1 \dots m_n)_1)$

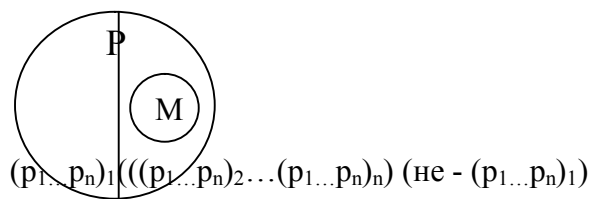
Деякі S є $(m_1 \dots m_n)_1$, оскільки деякі S є M



Деякі $S \in (p_1 \dots p_n)_1$, оскільки деякі $S \in P$

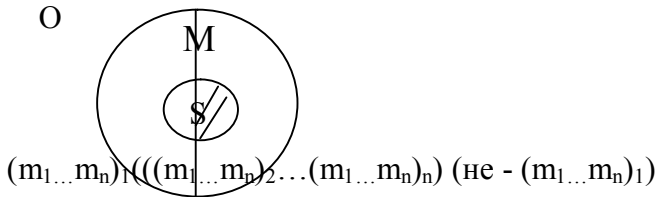
Модус EOO (схема (мал. 8) і формула).

E



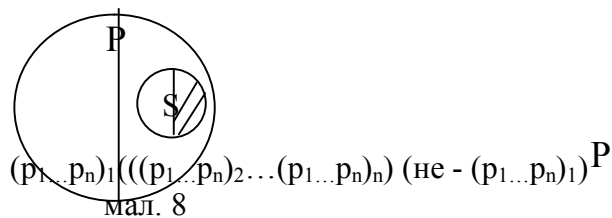
Жодне $(p_1 \dots p_n)_1$ не $\in M$ оскільки всі $(p_1 \dots p_n)_1, \in P$

O



Деякі S не $\in (m_1 \dots m_n)_1$, оскільки деякі $S \in M$

O



Деякі $S \in (p_1 \dots p_n)_1$, оскільки деякі $S \in P$

Логіка, предмет якої міркування.

Логіка, в якій міркується спокій.

Категоричний силіогізм – силіогізм, в якому із дійсності двох засновків (більшого і меншого), представлених категоричними висловлюваннями виду $AS_{(x)}P_{1(x)}P_{(x)}$, $ES_{(x)}P_{1(x)}P_{(x)}$, $IS_{(x)}P_{1(x)}P_{(x)}$, $OS_{(x)}P_{1(x)}P_{(x)}$, слідує дійсність висновку.

Формула (перша фігура).

$$M_{(x)} - p_{1(x)}P_{(x)}$$

$$\underline{S_{(x)} - m_{1(x)}M_{(x)}}$$

$$S_{(x)} - p_{1(x)}P_{(x)}$$

Аксиома. $p_{1(x)}$ належить (не належить) множині, належить (не належить) елементу, $P_{(x)}$ належить множині, належить елементу. $p_{1(x)}$ належить (не належить) $M_{(x)}$, належить (не належить) $S_{(x)}$, $P_{(x)}$ належить $M_{(x)}$, належить $S_{(x)}$.

Правила. 1. Категоричний силогізм має три терміна. 2. Більший засновок підкоряє менший через середній термін. 3. Якщо родова частина середнього терміну в більшому засновку розподілена, то в меншому засновку вона розподілена. Термін, розподілений у засновку, розподілений у висновку. 4. Якщо більший засновок ствердний, то висновок ствердний. 5. Якщо більший засновок заперечний, то висновок заперечний. 6. Якщо менший засновок загальний, то висновок загальний (з огляду на відповідний модус першої фігури). 7. Якщо менший засновок частковий, то висновок частковий (з огляду на відповідний модус першої фігури).

Фігури і модуси.

Фігура – різновид категоричного силогізму, що визначається положення середнього терміна.

Перша фігура.

Перша фігура – фігура, в якій частина середнього терміну (рід) є суб'єктом більшого засновку, середній термін є предикатом меншого засновку.

Формула.

$$M_{(x)} - p_{1(x)}P_{(x)}$$

$$\underline{S_{(x)} - m_{1(x)}M_{(x)}}$$

$$S_{(x)} - p_{1(x)}P_{(x)}$$

Перша фігура є основною, друга, третя і четверта фігури – її різновидами.

Модуси.

Модус – різновид фігури, що визначається кількістю і якістю засновків і висновку.

Всі чотири фігури мають по шістнадцять правильних модусів, всі шістдесят чотири модуси є правильними.

Модуси першої фігури (AAA, AEA, AII, AOI, EAE, EEE, EIO, EOO, III, IAA, IEA, IOI, OAE, OEE, OIO, OOO). Модуси другої фігури (IAA, IEA, III, IOI, EAE, EEE, EIO, EOO, IAA, IEA, III, IOI, EAE, EEE, EIO, EOO). Модуси третьої фігури (AIA, AEA, AII, AEI, EIE, EEE, EIO, EEO, IIA, IEA, III, IEI, OIE, OEE, OIO, OEO). Модуси четвертої фігури (IIA, IEA, III, IEI, EIE, EEE, EIO, EEO, IIA, IEA, III, IEI, EIE, EEE, EIO, EEO).

Приклади модусів.

Приклади модусів третьої фігури.

Модус IIA (формула).

$$\exists x M_{(x)} (\forall x M_{(x)}) \in P_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \exists x M_{(x)} (\forall x M_{(x)}) \in P_{(x)},$$

$$\exists x m_{1(x)} \in S_{(x)}, \notin \left((m_{2(x)} \dots m_{n(x)}) \neg m_{1(x)} \right), \exists x m_{1(x)} \in M_{(x)}$$

$$\forall x S_{(x)} \in P_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \forall x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

Модус ІЕА (формула).

$$\exists x M_{(x)} (\forall x M'_{(x)}) \in p_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \exists x M_{(x)} (\forall x M'_{(x)}) \in P_{(x)},$$

$$\forall x m'_{1(x)} \notin S_{(x)}, \notin \left((m'_{2(x)} \dots m'_{n(x)}) \neg m'_{1(x)} \right), \forall x m'_{1(x)} \in M'_{(x)}$$

$$\forall x S_{(x)} \in p_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \forall x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

Модус ІІІ (формула).

$$\exists x M_{(x)} (\forall x M'_{(x)}) \in p_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \exists x M_{(x)} (\forall x M'_{(x)}) \in P_{(x)},$$

$$\exists x m'_{1(x)} \in S_{(x)}, \notin \left((m'_{2(x)} \dots m'_{n(x)}) \neg m'_{1(x)} \right), \exists x m'_{1(x)} \in M'_{(x)}$$

$$\exists x S_{(x)} \in p_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \exists x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

Модус ІЕІ (формула).

$$\exists x M_{(x)} (\forall x M'_{(x)}) \in p_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \exists x M_{(x)} (\forall x M'_{(x)}) \in P,$$

$$\forall x m'_{1(x)} \in S'_{(x)}, \notin \left((m_{2(x)} \dots m_{n(x)}) \neg m_{1(x)} \right), \forall x m'_{1(x)} \in M'_{(x)}$$

$$\exists x S_{(x)} \in p_{1(x)}, \notin \left((p_{2(x)} \dots p_{n(x)}) \neg p_{1(x)} \right), \exists x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

Логіка, в якій міркується рух.

Категоричний силлогізм – силлогізм, в якому із дійсності двох засновків (більшого і меншого), представлених категоричними висловлюваннями виду $AS_{(x)}(p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$, $ES_{(x)}(p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$, $IS_{(x)}(p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$, $OS_{(x)}(p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$, слідує дійсність висновку.

Формула (перша фігура).

$$M_{(x)} - (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$$

$$\underline{S_{(x)} - (m_{1(x)} \dots m_{n(x)})_{1(x)} M_{(x)}}$$

$$S_{(x)} - (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$$

Аксіома. $(p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)}$ належить (не належить) множині, належить (не належить) елементу, $P_{(x)}$ належить множині, належить елементу. $(p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)}$, належить (не належить) $M_{(x)}$, належить (не належить) $S_{(x)}$, $P_{(x)}$ належить $M_{(x)}$, належить $S_{(x)}$.

Правила. 1 Категоричний силогізм має три терміна. 2. Більший засновок підкоряє менший через середній термін. 3. Якщо родова частина середнього терміну в більшому засновку розподілена, то в меншому засновку вона розподілена. Термін, розподілений у засновку, розподілений у висновку. 4. Якщо більший засновок ствердний, то висновок ствердний. 5. Якщо більший засновок заперечний, то висновок заперечний. 6. Якщо менший засновок загальний, то висновок загальний (з огляду на відповідний модус першої фігури). 7. Якщо менший засновок частковий, то висновок частковий (з огляду на відповідний модус першої фігури).

Фігури і модуси.

Фігура – різновид категоричного силогізму, що визначається положення середнього терміна.

Перша фігура.

Перша фігура – фігура, в якій частина середнього терміну (рід) є суб'єктом більшого засновку, середній термін є предикатом меншого засновку.

Формула.

$$M_{(x)} - (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$$

$$\underline{S_{(x)} - (m_{1(x)} \dots m_{n(x)})_{1(x)} M_{(x)}}$$

$$S_{(x)} - (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} P_{(x)}$$

Перша фігура є основною, друга, третя і четверта фігури – її різновидами.

Модуси.

Модус – різновид фігури, що визначається кількістю і якістю засновків і висновку.

Всі чотири фігури мають по шістнадцять правильних модусів, всі шістдесят чотири модуси є правильними.

Модуси першої фігури (AAA, AEA, AII, AOI, EAE, EEE, EIO, EOO, III, IAA, IEA, IOI, OAE, OEE, OIO, OOO). Модуси другої фігури (IAA, IEA, III, IOI, EAE, EEE, EIO, EOO, IAA, IEA, III, IOI, EAE, EEE, EIO, EOO). Модуси третьої фігури (AIA, AEA, AII, AEI, EIE, EEE, EIO, EEO, IIA, IEA, III, IEI, OIE, OEE, OIO, OEO). Модуси четвертої фігури (IIA, IEA, III, IEI, EIE, EEE, EIO, EEO, IIA, IEA, III, IEI, EIE, EEE, EIO, EEO).

Приклади модусів.

Приклади модусів четвертої фігури.

Модус EIE (формула)

$$\forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \notin M'_{(x)}, \notin (((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)}) \neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)})$$

$$\forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \in P_{(x)}$$

$$\exists_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \in S_{(x)}, \notin (((m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{2(x)} \dots (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{n(x)}) \neg (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)})$$

$$\exists_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \in M'_{(x)}$$

$$\forall_x S_{(x)} \notin (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)}, \in (((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)}) \neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)}) \forall_x S_{(x)} P_{(x)}$$

Модус ЕЕЕ (формула)

$$\forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \notin M_{(x)}, \notin \left(\left((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \exists_x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

$$\forall_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \notin S_{(x)}, \notin \left(\left((m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{2(x)} \dots (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \forall_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} M_{(x)}$$

Модус ЕІО (формула)

$$\forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \notin M_{(x)}, \notin \left(\left((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \in P_{(x)}$$

$$\exists_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \in S_{(x)}, \notin \left(\left((m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{2(x)} \dots (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \exists_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \in M_{(x)}$$

$$\exists_x S_{(x)} \notin (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)}, \in \left(\left((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \exists_x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

Модус ЕЕО (формула)

$$\forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \notin M_{(x)}, \notin \left(\left((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \forall_x (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \in P_{(x)}$$

$$\forall_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \notin S_{(x)}, \notin \left(\left((m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{2(x)} \dots (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \forall_x (m'_{1(x)} \dots m'_{n(x)})_{1(x)} \in M_{(x)}$$

$$\exists_x S_{(x)} \notin (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)}, \in \left(\left((p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{2(x)} \dots (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{n(x)} \right) \left(\neg (p_{1(x)} \dots p_{n(x)})_{1(x)} \right) \right) \exists_x S_{(x)} \in P_{(x)}$$

Отже, існує категоричний силігзм в межах логіки, предметом якої є мислення (логіки, в якій мислиться спокій; логіки, в якій мислиться рух) і логіки, предметом якої є міркування (логіки, в якій міркується спокій; логіки, в якій міркується рух), що розуміється в родо-видовий спосіб.

Література.

1. Аристотель. Собр. соч.: В 4т./АН СССР Ин.-т филос. – т.2. – М.: Мысль, 1978. – 487с.

УДК 930.1

Кислюк К. В.

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИОСОФІЯ В ДІАСПОРІ: ШЛЯХИ ПОСТУПУ

Рассмотрены теоретико-методологические основы историософии украинской истории в диаспоре в XX веке. Установлено, что таковыми основами являлись синтетичность, цикличность, человекомерность, европейскость. Они совпали с основными направлениями развития мирового исторического знания.

Ключевые слова: историософия, украинская история, исторические знания.

The theoretikal-methodological bases of Historiosophy of Ukrainian History in diaspora in XX st. are considered. Established, that by such bases were shyntetic, recurrence, anthropological domination, European values. They coincided with basic development directions of world historic knowledge.

The key words: Historiosophy, Ukrainian History, historic knowledge.

На перший погляд, навіть людині, яка не спеціалізується на дослідженні української історичної науки та філософії, сьогодні легко визначити наявні там тенденції. Особливо це стосується уявлень про самотність історії українського народу (які прийнято називати українською історіософією) з огляду на найбільшу суспільну значущість і постійну актуальність саме цих знань. Проте, насправді, переважна більшість подібних визначень навряд чи вийдуть за межі двох поширених штампів: або «європейскості» в розвитку української історичної науки та філософії, або, навпаки, постійного запізнення і відхилення від магістральних шляхів їхнього поступу.

На нашу думку, знання про власні інтелектуальні первні мають бути врівноваженіші. Ставлячи за мету наново оцінити ступінь модерності української історіософії у XX столітті, зосередимо увагу на тій її частині, яку від 1920-х до 1980-х років творили в українській діаспорі. Подібний вибір предмета нашого дослідження пояснюємо відсутністю узагальнюючих праць у цій царині. Через зрозумілі причини в радянські часи такі дослідження були неможливі. Самі представники української діаспори свої інтереси постійно зосереджували на вивченні розвитку історичних знань у Радянській Україні задля змістовної дискусії з концепціями «Історії СРСР». У власне українській історичній та філософській думці всевладно панували дві не менш заангажовані моделі: формулювання про протистояння «народницького» та «державницького» напрямів історіографії, що його запропонував Д. Дорошенко, та концепція «провансальства», радикального розриву із українською інтелектуальною традицією попереднього періоду, яку обстоював Д. Донцов. Певним винятком є виважена в оцінках і доволі широка за тематичним охопленням праця Б. Крупницького «Основні проблеми історії України» [5]. Проте її автор так і не спромігся висвітлення окремих дискусійних проблем в написанні української історії піднести до рівня аналізу теоретичних підстав цієї історії.

Вирішити поставлене завдання намагаємося двома методами: структурно-

системним і порівняльним. За допомогою структурно-системного аналізу маємо визначити парадигмальні засади діаспорної історіософії, одночасно зіставляючи їх із засадничими принципами класичної української історіософії України-Руси 1880–1920-х років – телеологізмом, есенціоналізмом, лінійністю, етноцентризмом [14, с. 65] – та стратегічними напрямками руху світового історичного пізнання.

Ще М. Грушевський у перших десятиліттях ХХ століття дороговказами для «науки історії» визнавав збільшення просторово-часових масштабів всесвітньої історії завдяки використанню все досконаліших засобів історичного пізнання [1, с. 9–10]. Уточнимо, що особисто ми бачимо відцентровий рух від моністичних лінійно-прогресистських теорій історичного процесу та наївно-об'єктивістських теорій історичного пізнання як простого відтворення історичної дійсності до «тотальної історії», що прагне всебічного висвітлення людства у численних різновекторних концепціях, серед яких – колообігові, цивілізаційні, цивілізаційно-хвильові моделі з ухилом до соціальної та ментальної складової історичного життя людського суспільства.

В одній зі своїх попередніх публікацій ми вже зверталися до історіософії української діаспори (В. Липинський, Д. Донцов), визнали її «модерною» за сукупністю системотворчих ознак, розгорнувши думку Д. Чижевського про її метадискурсивність, намагання створити власну філософію історії, зверхню над уже наявними філософсько-історичними теоріями [3, с. 76].

У цьому розумінні погляди В. Липинського і Д. Донцова, на нашу думку, насправді являють собою пропедевтичний крок до концепції повного україноцентризму Юрія Липи. Автор відомої трилогії («Призначення України» «Чорноморська доктрина», «Розподіл Росії») сподівався «підтягнути» свідомість українців до тих територіальних рамок, які вони зайняли по берегах Чорного моря від Дунаю до Кавказу [8, с. 5]. Виявляється, українська земля і «раса», що на ній мешкає, з будь-якого огляду – геополітичного, торговельно-економічного, морального – «це одна з найважливіших земель світу», значення якої тільки продовжує зростати [9, с. 118]. Одночасно вона є уособленням рідного «Дому» – Родини-Батьківщини і творить той серединний меридіан, крізь призму якого пересічний українець мав вимірювати навколишній світ [9, с. 200, 271, 280, 300 та ін.].

Цілком можливо, що в концепції Ю. Липи знаходить *логічне завершення* розвиток української історіософії, який розпочався спробами відокремлення української історії в рамках загальної історії людства ще в давньоруську добу. Таким чином, *лише в часі, але не в напрямі* відрізнявся саєнтифікаційний рух української історіософії від системного становлення західноєвропейської філософії історії. Тоді як остання, що далі від філософської системи Гегеля і позитивістської історіографії кінця ХІХ століття, то більше урізноманітнювалася у своєму відцентровому русі від ідеї тотожності історичної реальності та історичного пізнання; українська історіософія тільки-но завершувала свій доцентровий рух, щоправда, в іншій змістовній площині – до збігу наднаціонального та національного. Тому ми вбачаємо *важливою ознакою наріжного модернізаційного обертону української історіософії* те, що вона вслід за західноєвропейською філософією історії від середини

XX століття так само почала відмовлятися від моністичності в схемах української історії, щоб в наш час поставити питання про її інтеграцію в світовий культурний мультиверсум.

Виявляється, що зовсім не випадково спершу Д. Чижевський говорив про недолугість та однобічність раціоналістичного погляду, «багатство різних форм і типів» в органічній природі, суспільному житті, культурі, проявленні національного ідеалу в множині самобутності націй, синтезу «філософій» на шляху до істини, нелінійність історико-філософського процесу, який зачіпає один раз певні нації, тоді як до інших повертається по кілька разів [15, с. 5–10]; не випадково вже згадуваний Ю. Липа розмірковував відразу про «трипільське», «готичне» та «еллінське» «підложжя» «української раси» [8, с. 137 та ін]; М. Шлемкевич висував проект Конституції майбутньої незалежної української держави, у якому б об'єдналися три історично найзначніші для українства сили – «українська монархія», «українське народовладство», «українське провідництво» [17, с. 10–11]; кількома десятиліттями по тому І. Лисяк-Рудницький писав про актуальну в його добу синтезу «лібералізму й федералізму XIX ст. та державництва першої половини XX ст.» [6, с. 331].

Теоретичне підґрунтя цих синтетичних пошуків підсумував Борис Крупницький: «Ми не претендуємо на синтези спрощеного, однолінійного типу. Короткою формулою многогранного процесу українського історичного життя не охопиш» [5, с. 3]. Він же пояснив цю обставину суперечливими змінами самої історичної ситуації XX століття, коли в той самий час виступають реформатори й традиціоналісти, супроти демократії стоїть тоталітаризм, триває жорстка боротьба між індивідуалізмом і колективізмом [5, с. 91]. Проте цілком імовірно, що ці зміни лише каталізували ті внутрішні саєнтифікаційні та політико-ідеологічні «мотори», під впливом яких розвивалася українська історіософія в історичні епохи з різними тенденціями. Недарма ми доводили наявність подібного ідейного синтезу між марксизмом й українським народництвом і почасти руським націоналізмом у змісті історії УРСР на основі «діалектичного та історичного матеріалізму» [4, с. 11]. Інша справа, що той інтелектуальний процес, який на теренах Радянської України відбувався значною мірою спонтанно і латентно, почав набувати в діаспорі усвідомленого вигляду – подолання безплідних, як виявилось, крайнощів національного радикалізму 1920–1930-х років.

Дотичною до провідних на той час тенденцій світового історичного пізнання слід визнати *колообіговість* та органічно з цим пов'язану *людиновимірність історіософських схем в українській діаспорі*, що, на нашу думку, також є ознаками і доказами їх модерності.

Нема сумнівів, що історіософія В. Липинського та Д. Донцова настільки ж близька до теорій історичного колообігу, як класична українська історіософія (так само «діалектичний та історичний матеріалізм») близькі до лінійно-прогресистського бачення перебігу історичного процесу. Свої «етнопсихологічні пошуки», визначення принципів рис українського національного характеру І. Мірчук, услід за О. Шпенглером, теж розцінював як намагання розглядати культури не тільки в їх динаміці, але й в статиці, в їх неповторному обличчі [13, с. 40]. Останні ремінісценції

«морфології історії» О. Шпенглера зустрічаємо у художній історіософії Ю. Луцького. Але то були вже своєрідні «переповідання» з других рук, однак, не без претензій їх перенесення на ґрунт української дійсності 1990-х років [11, с. 105–111].

«Історію людей», замість класичної історії подій, судячи з нотаток Б. Крупницького, досліджували з опертям на А. Бергсона, школу Ш. Ле Бона, Г. Тарда, Й. Хейзінгу [5, с. 108–110], себто, у масі своїй, представників минулого покоління теоретиків історії, чия творчість знову актуалізувалася після своєрідної історіографічної революції, спричиненою діяльністю «Анналів».

М. Шлемкевич саме тому, що найефективніше наука «посягла по ключ розуміння світу й життя в творах Шпенглера, Тойнбі» [16, с. 47], апробовував нову схему української історії – згідно із народженням, оформленням і нинішньою розгубленістю української людини [16, с. 17]. Якщо завгодно, кількадесятсторінковий начерк М. Шлемкевича можна розглядати в контексті наближення до концепції антропологічно орієнтованої «мікроісторії», котра вслід за третім і четвертим поколіннями французького історичного руху «Анналів» нині визначає обличчя світової історичної думки.

Загальне розуміння речниками модерної діаспорної історіософії ролі й місця людини в історії найопукліше постає в творі В. Липинського «Україна на переламі», провідним завданням якого автор називає з'ясування того, яким чином зумів Богдан Хмельницький «перед тим роз'єднану, здеморалізовану, розбиту націю українську» примусити до виконання двоєдиного завдання – розбудови держави (1) за європейськими зразками (2) [10, с. 11].

На думку В. Липинського, велич і геніальність Богдана Хмельницького полягали в тому, що він виявився здатним спрямувати в потрібне для Української Держави і для Української Нації річище наявні в той момент «стихійні процеси» – боротьбу між «степом» і «плугом» у середині країни та поміж державністю українською і державністю польською зовні [10, с. 93–94, 106]. Так само, як Богдан Хмельницький, діяв під пером П. Мірчука Євген Коновалець: коли формальні зверхники молодій українській державі відхиляли ідею створення українського війська, він продовжував його формування, а вже за його допомогою повернув «революційну стихію пробудженого українського народу» на правильний шлях – збройної боротьби за свободу [12, с. 7–8].

Утім, усієї величі Богдана Хмельницького не вистачило на те, щоб здолати «слабкість нашої державотворчої аристократії» – української шляхти, а всієї геніальності – на те, щоб вигадати більш передову форму державного устрою новонародженої держави, ніж спадкова монархія, адже неодмінно треба було зважити і враховувати й «психологію народних мас», віками освячені традиції давно минулих днів [10, с. 82, 248].

Тому, на нашу думку, в такий спосіб намальованому образі Богдана Хмельницького чи Євгена Коновальця менш за все слід убачати того «від Бога собі даного Вождя», як про нього писали козацькі літописці, що неодноразово цитував у книзі сам В. Липинський, або «руку Провидіння» у версії П. Мірчука. В їх уявленнях було закладено інший зміст: концепт великої особистості, яка може *завертати ходу*

історії, а не змінювати її перебіг! І цей зміст віддзеркалив поступову еволюцію європейського історичного пізнання від романтично-героїчної концепції Т. Карлейля до домінування безособової історії соціальних структур. Одночасно він *остаточно поклав край традиції Абсолютного Провіденціалізму*, притаманній різною мірою, за нашими даними, українській історіософії впродовж XI – першої половини XIX століття!

Наголосимо, що термін «модерна», що його ми використали, не повинен приховувати того факту, що разом із досягненням українською історіософією змістовної довершеності, вона не набула остаточно, як на цьому наполягав Д. Чижевський («Вячеслав Липинський як філософ історії»), формальних ознак систематизованої філософії історії. Навіть на найвищому щаблі свого розвитку українська історіософія так і залишалася *проміжним, специфічним формоутворенням історичного пізнання*.

Немає сенсу сперечатися з тим, що рівень об'єктивності модерної української історіософії був вищим за попередні періоди. Найголовніше, що вона спромоглася перенести критичність погляду із зовні рецесійованих знань, у сприйнятті яких іноді грішила на відверту неґацією («Світ не має що дати нам для розради», як писав М. Шлемкевич) на основні внутрішні засади вітчизняної концептуальної традиції. Причому зробила вона це куди послідовніше за критику романтиками історичних уявлень козацько-старшинської історіософії і критику послідовниками класичної історіософії, – згадаємо М. Драгоманова, самих романтиків. Адже послідовно-критичну позицію модерна українська історіософія зберігала протягом усього періоду свого існування: і на початку, коли В'ячеслав Липинський архівними документами у вступі до «України на переламі» доводив, що наукове висвітлення подій 1657–1659 років можливе через позбавлення від «ідеології державности російської, ідеології державности польської і національно-культурної демократичної і недержавної ідеології української»; і в середині, коли Б. Крупницький у своїй класичній праці «Історична наука під Советами» знущався із «діалектики скоків» чи історіографічних формул «найменшого лиха», «соціалістичної нації», «теорії центрів» як способів фальшування радянським марксизмом української історії, а Ю. Липа у «Призначенні України» закликав «визволитися від змови істориків» у продукуванні різноманітних історичних теорій, але однаково далеких від «справжньої», біологічної схеми, яку він застосовував, і наприкінці, коли І. Лисяк-Рудницький у своїх численних есе знаходив однакові недоліки – невиправдано розширене трактування системотворчих концептів «феодалізму» і «козаччини» – у двох основних схемах української історії: «одну з них подибуємо у радянській історичній літературі, а друга переважає серед дореволюційних і нерадянських українських істориків». І все це, до речі, окрім знаменитої концепції «провансальства» Д. Донцова з нищівним запереченням вітчизняної інтелектуальної традиції, – від другої половини XIX століття! На загал, *послідовна критичність на межі із рефлексивністю* української модерної історіософії, як ми це собі уявляємо, є її внеском у плин сайентифікаційного процесу в українській історіософії, подібно до того, як історіософські перегони XVI – першої половини XVII століття започаткували секулярну тенденцію, козацько-старшинська

історіософія надала посьогодні достеменний фактичний матеріал, романтична історіософія відзначилася публікаціями першоджерел з української історії, а класична історіософія – оригінальними концептуальними схемами на основі наукової методології.

Водночас, та сама критичність у результаті прискіпливішого аналізу виявляється *не науковою рефлексією, а спробою ідеологічної протестації* проти штучного посилення завдяки Радянській владі в Україні східного центру інтелектуальних впливів. Простий перелік таких праць, як «Сталінізм» М. Сціборського, «Росія чи Європа» Д. Донцова, «Російське історичне коріння большевизму» Ю. Бойка, «Теорія III Риму і шляхи російської історіографії» Б. Крупницького, «Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй» М. Чубатого дає нам такий матеріал, порівняно з яким критика суто українських інтелектуальних джерел виявляється хіба що другорядною.

Не менш значущі перетворення відбулися в царині «Великої Історіософської Мети» України, через яку українська історіософія призвичаїлася бачити сенс та призначення історії як такої: всебічне перевернення її фокусу. Добігли свого кінця (й обернулися на свою протилежність) дві найбільші ідеї щодо визначення історичного призначення країни. Маємо на увазі, по-перше, усталену ще з киеворуської доби ідею «українності», у значенні «окраїнності», модерні ремінісценції якої зустрічаємо ще в Степана Рудницького в 1920-х років. По-друге, слід згадати й про тісно пов'язаний з першою ідеєю пасивницький дискурс «оборони» географічних і культурних обривів цивілізаційного «центру», а з XIX століття – ще й мирної хліборобської колонізації, відсування цих кордонів, якій підживлював масштабніші теоретичні спекуляції, починаючи, певно, від спроб «ошляхетнення» українського козацтва наприкінці XVI – першої половини XVII століття у винагороду за його прикордонну службу. Відтепер, Україна висувається на передній план, займає «осередню» позицію на відповідному особливостям модерної історіософії рівні метадискурсивності та синтетичності. Цій позиції майже відразу дісталася назва «між Сходом і Заходом», але її остаточному встановленню передувала тривала еволюція від статусу «аванпоста Європи проти Росії», що його запропонував Д. Донцов. Відбитком тієї еволюції залишився дух європофільства, який дозволяє нам провести розмежування з позицією дійсного винахідника цієї чи не найгучнішої сучасної історіософської метафори – російського євразійства з його пієтетом до всього азійського.

Новий геополітичний статус зобов'язував не посилатися на «провину» географічного становища, як це робив М. Грушевський у вступних нотатках до «Історії України-Руси», навпроти, активно й послідовно плекати необхідні засади зовнішньої та внутрішньої політики [2, с. 140]. Але і тут акцент мало-помалу було переорієнтовано із «силової» риторики постійної «боротьби» на культурне наслідування й подальшу трансляцію на Схід усього «європейського», себто дискурс, уже випробуваний в ранній українській історіософії, однак у релігійному контексті «нових міхів» чи «другого Єрусалиму». Наприклад, на думку І. Лисяка-Рудницького, Україна, яка «розташована між світами грецько-візантійської й західної культур і законний член їх обох», має «поєднати ці дві традиції в живу синтезу» [7,

с. 9].

Отже, синтетичність, циклічність і людиновимірність теорій українського історичного процесу в ХХ столітті в діаспорі, їх підвищена критичність щодо змісту власних інтелектуальних джерел дають нам підстави підтвердити їх своєрідну «європейськість», яку вони самі артикулювали у визначенні власної Великої Історіософської Мети. У той же час, попри свою сумірність основним тенденціям розвитку світового історичного знання, українська історіософія обмежувалася щодо них спізнілою рецепцією, не змогла позбавитися від надмірного суб'єктивізму й ідеологічної заангажованості своїх конструкцій. Як наслідок, україноцентричні теорії всесвітньої історії, що їх вона запропонувала, виявилися «неконкурентоспроможними» у світі порівняно із мультикультурним спрямуванням тих самих зразків (О. Шпенглера, А. Тойнбі), які вони намагалися наслідувати.

На загал, стосовно української історіософії доречніше говорити про феномен «наздоганяльної модернізації», що впродовж усього періоду її існування (ХІ–ХХ століття) виявляв себе, як ми собі уявляємо, через ситуацію *постійного незбігу* західноєвропейської філософії історії й української історіософії та провокував *постійне відкладання більш-менш достеменної відповіді* на таке собі «основне питання української історіософії»: «Що таке і як можлива українська історія?». Утім, зрозуміло, що подібні гучні сентенції потребують подальшого більш розлогого обґрунтування.

Література:

1. Грушевський М. С. Всесвітня історія в короткім огляді: В 6 ч. – К., 1996. – Ч. 1.
2. Донцов Д. Підстави нашої політики // Донцов Д. Твори. – Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці. – Л., 2001.
3. Кислюк К. В. Модернізаційні тенденції в українській історіософській думці 1920–1980-х рр. // Грані. – 2005. – № 1(39).
4. Кислюк К. В. Рецепції марксизму на теренах Радянської України в 1920–1980-і рр. // Культура України: Зб. наук. праць. – Вип. 15. Сер. Мистецтвознавство. Філософія. – Х., 2005.
5. Крупницький Б. Основні проблеми історії України. – Мюнхен, 1955.
6. Лисяк-Рудницький І. Проти Росії чи проти радянської системи? // Історичні есе: В 2 т. – К., 1994. – Т. 2.
7. Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом та Заходом // Історичні есе: У 2 т. – К., 1994. – Т. 1.
8. Липа Ю. Розподіл Росії. – 2-ге справлене вид. – Нью-Йорк, 1954.
9. Липа Ю. Призначення України. – 2-ге вид. – Нью-Йорк, 1953.
10. Литинський В. Україна на переламі. 1657–1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII ст. – Відень, 1920.
11. Луцький Ю. З двох світів. Публіцистика. Естетика. Історіософія. – К., 2002.
12. Мірчук П. Євген Коновалець. – Торонто, 1958.
13. Мірчук І. Етнопсихологія і культура українського народу // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 1–2.
14. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ ст.: здобутки і проблеми / Під ред. Л. Зашкільняка. – Л., 2004.
15. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Філософські твори: У 4 т. – К., 2005. – Т. 1.
16. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – Нью-Йорк, 1954.
17. Шлемкевич М. Українська синтеза чи українська громадянська війна. – 2-ге вид. – Б/м, 1949.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Калиновський Юрій Юрійович – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого

Кислюк Константин Володимирович – кандидат філософських наук, доцент, доктор кафедри історії та теорії культури Харківської державної академії культури.

Копилов Володимир Олександрович – кандидат філософських наук, доцент, професор ХАІ, декан гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Кривда Наталія Юріївна – кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

Оніщенко Олена Ігорівна – доктор філософських наук, професор Київського Національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого

Петрук Валерій Миколайович – асистент кафедри політології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Поліщук Олена Петрівна – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з навчально-методичної та наукової роботи Житомирської філії Європейського університету.

Проценко Олександр Федорович – кандидат філософських наук, доцент, кафедри менеджменту соціокультурної діяльності Харківської державної академії культури

Проценко Ольга Петрівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Роздіна Елена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри політології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Романюк Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національної юридичної академії ім. Я. Мудрого

Руденко Світлана Олександрівна – викладач гуманітарного циклу Харківського торгово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Сабадаш Юлія Сергіївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Приазовського державного технічного університету.

Сопенько Роман – кандидат філософських наук, докторант кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

Стричинець Олексій Владиславович – викладач кафедри суспільних наук, українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету, м. Харків.

Наукове видання

**Гуманітарний часопис.
Збірник наукових праць
2006 № 4**

**Відповідальний за випуск – О.П. Проценко
Редактор – О.В.Плахоніна
Технічний редактор і виконавець оригінал-макету –
І.В.Груздо**

**Адреса редакції – 61070 Харків, вул. Чкалова, 17, ХАІ, гуманітарний факультет
Тел.: (057) 707 4777. E-mail: V.Kopylov@khai.edu**

*Рукописи не повертаються.
За достовірність інформації, що міститься в опублікованих матеріалах,
відповідальність несуть автори.
Передрук можливий у разі посилання на автора і видання.*

Св. план, 2007

Підписано до друку 19.04.2007 Формат видання – 60 x 84 1/8.

Папір друкарський. Уч. вид. 7,68 Тираж 100. Зам. 171

**Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17**

**Видавничий центр «ХАІ»
61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17
e-mail: izdat@khai.edu**